

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

ХЛЕБОЗОРЫ

Сергей Алексеев

Хлебозоры

«Алексеев Сергей»

Алексеев С. Т.

Хлебозоры / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,

Одна из ранних повестей Сергея Алексеева – автора знаменитой серии приключенческих романов «Сокровища Валькирии» – рассказывает о послевоенном времени.

© Алексеев С. Т.
© Алексеев Сергей

Содержание

1. Великаны	5
2. Шлем	13
3. Орех	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Сергей Алексеев

Хлебозоры

1. Великаны

Черемуха после войны раньше всех на ноги встала...

Березы вокруг Божьего озера еще только-только поднимались, еще чернели среди молодняка кругляши крепких пней, еловый же подросток и вовсе едва успел от земли отряхнуться, а вырубленная начисто черемуха за несколько лет выметала новые побеги, разрослась густо, зацвела буйно и запахла до головокращения. Ей бы еще расти да расти, как всякому молодому дереву – весело и бездумно, не помышляя о плодоношении, но послевоенная черемуха, видно, тоже не знала детства: росла круто, колосилась рано и ни один год не было пустоцвета.

Отец мой к той поре немного оживал. Он надевал чистую рубаху, просил, чтобы достали из сундука галифе и гимнастерку, однако еще не вставал с кровати, а лишь примеривался встать. Он подтягивался к окну, отвернув занавеску, глядел на улицу, затем бережно садился, спускал желтые ноги и подолгу играл завязками кальсон, как играет с веревочкой слабый, болезненный котенок.

Так он переживал черемуховые холода, которые сваливались на оттаявшую и согретую землю, на свежую траву и потеплевшую нашу речку Рожоху. И когда наконец ее берег охватывался белым и отражался в тихой, стекленеющей от задумчивости реке, отец подзывал меня и вскидывал руки. Двенадцатилетним, я без труда натягивал на него гимнастерку, галифе, осторожно переворачивал со спины на живот, а если и надо – поднимал с кровати, подставляя плечо. Отец за все послевоенные годы иссох, истерся о казенные и домашние простыни, словно материно серебряное колечко на пальце. Уже тогда мне казалось, что жизнь держится в нем, как в мелком блюде: чуть качни и – расплещется до капли.

А отец был еще молод, немного за тридцать.

Ждал тепла после черемуховых холодов не только мой отец, и не только он оживал. В первый же вёдренный день на Рожоху шли другие инвалиды – такие же молодые мужики, сопровождаемые сыновьями-няньками, шли старики и ребятишки, старухи и редко – беременные женщины. Одним словом, все домочадцы по-весеннему пустующих Великан. Здоровая часть населения тем временем пахала и сеяла на колхозных полях либо работала на ферме и в сви-нарнике.

От нашей избы до Рожохы было близко, но шли мы с отцом долго, хотя отец всегда торопился посидеть на цветущем берегу и посмотреть на воду, пока мать не пришла с утренней дойки. Мы обязательно останавливались у единственного в Великанах колодца, я выкручивал бадью и поил отца. Он пил маленькими глотками, через край, переводя дух, радовался:

– До чего же легонькая вода-то. Пьешь – ровно воздухом дышишь.

Вода в нашем колодце и правда была особенная, и это подтверждали все жители окрестных деревень. Едет кто мимо – непременно завернет, чтоб напиться, да еще баклагу с собой нальет. Похоже, колодец питал какой-то подземный родник, который проходил лишь в одном месте. Сколько ни пробовали копать вокруг – вода была точь-в-точь как в Рожохе.

Напоив отца, я выливал воду обратно в колодец, закрывал крышку, и мы шли дальше. Уже по дороге отец жадно вдыхал запах черемухи, блаженно тянул носом и тяжело тряс головой.

– Видишь, Степан, не цвела долго черемуха, так теперь свое берет, – говорил он каждый раз одно и то же, лишь с растущей грустью. – От корня ишь как быстро разрастается! Если б от семечка – долго ждать, а от корня надежней...

Жизнь в то время воспринималась в одном измерении – в детском, и я соглашался с отцом. Да и опыт лесопосадок уже был: весной и осенью мы шелушили сосновые шишки, веяли зерно и сеяли его на питомнике. Из семечка дерево росло так, что не дождешься. А из черемухового или талового кола, забитого в землю, за одно лето выгоняло метровые стебли и листья лопухами. К тому же семена всходили не все, а из тех, что всходили, больше половины потом засыхало на первом году. Как ты над сажением ни трясишься, как ни поливай, как от солнца ни загораживай, глядишь – обвял и изжелтел на нет. Так что отцовы размышления были мне знакомы.

И вот мы наконец приходили на берег Рожохи. Отец отпускал мое плечо и ухватывался за молодой черемушник, чтобы постоять и оглядеться. Он сдержанно кивал инвалидам, которые уже были на реке, шурил на солнце глаза и дышал глубоко, насколько позволяли изорванные в клочья легкие. Река возле Великан делала изгиб и уходила дальше, образуя подкову. Я знал, что Рожоха километров через сто впадает в большое озеро, а то, в свою очередь, соединяется рекой с другим озером, откуда берут начало еще несколько рек, однако все это было далеко и незнакомо. Бывалые мужики, исходившие землю вдоль и поперек, говорили, что мы живем чуть ли не в центре всей России. Но в детстве при упоминании слова «Россия» перед глазами всегда возникали наша речка, Божье озеро и несколько деревень в округе, где я побывал к тому времени. Одним словом, рожохинский угол, как называли это место мужики. Когда я приводил на берег отца и он начинал осматриваться, мне казалось, что ему хочется одним взглядом сразу увидеть весь наш угол. Он вытягивал шею и даже привставал на цыпочки, словно заглядывал в высокую бочку.

– Эх, на ту сторону охота! – иногда говорил он. – На том бы берегу полежать!

– погоди, Павло! – смеялись инвалиды. – Не торопись. Скоро все на ту сторону попадем!

Отец на это обижался и хмурился.

Тепло выводило на свет божий всех больных и лежачих, а тем временем хозяйки выносили, развешивали по пряслам и плетням матрацы, подушки, одеяла – проветривали слежавшиеся за зиму постели. И если набегал ветер, то все кругом пузырилось и трепетало – белая черемуха, рубахи на плечах мужиков-инвалидов, холстинные простыни. Мне всегда казалось, что в Великанах наступил какой-то праздник...

Отец быстро уставал, и тогда я усаживал его на кромку берега. В беседах-разговорах он почти не участвовал, а только озирался по сторонам, следил за стрижами, слушал и нюхал веник из черемухового цвета. Когда он совсем уставал, я приносил попону, укладывал, и отец скоро придремывал, однако все слышал и чувствовал. Случалось, он крепко засыпал под разговоры, но потом, проснувшись, мог пересказать все, о чем шла речь на берегу.

Такая способность у него появилась после войны, а раньше, рассказывала мать, он спал как убитый, и хоть из пушки стреляй – не услышит.

Сидеть возле отцов-инвалидов было тоскливо, слушать их байки скучно. Если бы про войну что-нибудь говорили, а то разведут беседу, как бабы на посиделках: кто как раньше жил да в парнях гулял. Послушаешь, и сомнение берет: были ли они на войне-то? Больно уж робкие какие-то, не геройские. Берег рядом обвалится, так вздрогнут все разом, встрепенутся, как голуби от выстрела, и давай нас от воды понужать. А на вид – все фронтовики, в гимнастерках, битые, контуженные, безрукие-безногие. И вообще в то время почему-то не любили войну вспоминать, видно, нахлебались ее по горло. У моего отца совсем никакой фантазии не было. Лежим с ним на берегу, а в небе где-то бекасы летают, невидимые. Весенними вечерами у них гон начинается: поднимется бекас высоко-высоко, а потом растопырит хвостовые перья и пикирует к земле. Звук получается, будто у штурмовика над передовой. Когда я отцу об этом сказал, он лишь печально головой покивал:

– Дурак ты, Степка... Это же бекас летает, куличок такой. А у самолетов-то звук другой, совсем другой... Аж нутро выворачивает.

Если на берег не приходил Колька Смолянин, мы так и маялись от скуки. Ведь никуда же не отойдешь далеко, отцам да дедам то попонку перестелить, то попить, то еще чего, пока они от черемухового запаха не разомлеют и не заснут. Кольке приводить на берег было некого, потому он болтался в одиночку и поджидал нас в черемушнике. Мы бегали к нему в кусты, приносили табаку, спички – заранее задабривали, чтобы он дал мячик поиграть в лапту. Настоящий резиновый мяч был один на все Великаны. Когда наконец наши засыпали, мы собирались на краю поляны и еще долго сидели, ожидая Ильку-глухаря. Его безрукий отец был самым неугомонным, толкал засыпающих, будил и просил поговорить с ним. А еще знаками просил Ильку вертеть ему самокрутки, одну за одной. Знаки он давал губами и на первый взгляд все одинаковые – что закурить, что попить-поесть, но глухонемой Илька все сразу понимал. Играть мы не начинали без него потому, что Колька ждал Илькиного кисета, чтобы завернуть настоящую козью ножку. Уворованного нами табака хватало на две затяжки, а Илька же курил в открытую и владел отцовым кисетом. И вот когда Колька пихал в карман горсть Илькиной махорки и доставал мячик, начиналась игра. Редко когда мы наигрывались вдосталь. Обычно чей-нибудь отец просыпался, звал к себе, и тогда просыпались другие, начинали проситься домой, поскольку вечерело и от Рожохы тянуло сыростью. Но чаще всего Кольке просто надоело, он ловил мяч, прятал его и садился в черемушнике курить. Мы бегали на берег глянуть на своих мужиков, и если там все было в порядке, шли к Кольке и у нас начинался свой разговор.

– Что, ребзики? – спрашивал Колька. – Кто сегодня со мной к Любке пойдет? Я ей скажу, она даст.

Мы помалкивали, а он сдержанно смеялся, покуривал, сбивая пепел указательным пальцем.

– Ладно, подрастете – возьму кого, – снисходительно обещал он. – Салапеты еще, гвоздики...

Колька был старше меня года на два, но уже испытал все на свете. Однажды мы поиграли в лапту – еще сыро было на поляне, кое-где снег лежал и наши неходячие отцы с дедами по избам лежали, – и Колька позвал нас на конбазу.

– Хотите поглядеть? – таинственно спросил он. – Кто хочет – айда!

Мы пошли все, поскольку отставать было нельзя и отказываться тоже. Колька зашел в конюшню к Любке, которая выгребала навоз из денников, а мы залезли на сеновал и спрятались в застрехах. Скоро на сеновале появилась Любка. Она упала на сено, покачалась на нем и затихла. Было ей тогда лет двадцать, а может, и больше, мне она казалась старой и страшной – одутловатое лицо, глаза навывкат и постоянная гримаса, будто подкрадывается к кому-то и хочет схватить. Родом Любка была из немцев, которые приехали в Великаны откуда-то с запада, еще в войну. Мы лежали в застрехах и боялись дыхнуть, ожидая, что будет, а Любка опять стала качаться на сене. Потом пришел Колька и не успел сесть рядом, как она вцепилась в него и тихонько засмеялась. Колька пыхтел, боролся с ней, а Любка смеялась все громче и громче. И от этого смеха стало страшно. Я зажмурился, вскочил и, пробежав мимо них, прыгнул в дыру, через которую подавали сено в конюшню. И следом, чуть ли не на голову мне, попрыгали все остальные ребяташки. Мы убежали на Рожоху и сели на лап-тошной поляне. Илька-глухарь вдруг отвернулся и заплакал. Мы не знали, отчего он плачет, потому что страх и ужас давно прошли, теперь было смешно и жгуче-интересно все, что видели на сеновале. Мы отчего-то громко хохотали, а Илька плакал все горше и горше, затем вообще встал и ушел в черемушники, выписывая кривули по оттаявшей, грязной земле.

– Что сбежали? – появившись, спросил Колька и усмехнулся. – Баба, как осока, неумело возьмешь – руки обрежешь.

Мы смотрели на Кольку с уважением, а он нас презирал.

– Теперь тебе жениться на ней придется, – сказал я. – А она страшная такая...

– Дураки, – сказал Колька. – Она же ненормальная и немка.

После этого случая он не то чтобы вырос в наших глазах, а вселил какую-то опаску и восхищение одновременно. Он был слишком не похож на нас, и наши маленькие дела и заботы, наверное, казались ему мелочью, детской глупостью.

Обычно все наши посиделки на берегу заканчивались военными рассказами. А попросту мы начинали хвастаться друг перед другом своими отцами и дедами, но поскольку не знали про их подвиги, то ввали безбожно и лихо, придумывая отцам геройство. Или, перебивая друг друга, гордились их ранами. И побеждал тот, у кого батя признавался самым искалеченным.

– У моего ноги нет! – кричал один. – Осколком, как бритвой, срезало!

– А у моего обеих! – доказывал другой. – У моего бомбой оторвало! Да еще шесть осколков достали! Вот таких!

– Да моего двенадцать раз в госпитале резали! В документах сказано – из кусков собрали!

У кого не было отцов, те помалкивали и глядели с пренебрежением. У моего же отца руки-ноги были на месте, и в госпитале ни одной операции не делали, хотя он провалялся там целых три года. Но зато моего отца в сорок третьем убили, и похоронка в Великаны приходила. Мне всегда было обидно, что на нем нет шрамов, если не считать одного между ребер в правой стороне. Да и на шрам-то не походила красная полоса, скорее, на зажившую царапину. Однако и такого шрама никто не видел, отец не любил говорить о своей ране, тем более никому не показывал.

Кольку Смолянина такие разговоры вообще не интересовали. Едва они начинались, как он уходил, поигрывая мячиком. Мы-то знали, отчего так, лишь вслух сказать не могли, стеснялись. В войну Колькина мать украла полмешка муки в колхозе, и ее посадили. А в тюрьме у нее родился Колька. И тогда мать отпустили домой. Бабы в Великанах говорили, что она легко отделалась, и всегда почему-то жалели Смолянику и самого Кольку, старались подкормить, угостить, словно были виноваты перед ними. Но Колька был гордый и никаких угощений не принимал. У него среди взрослых даже были настоящие враги. Один из них – дядя Леня Христолюбов. Колька ненавидел его люто, и в детстве мне казалось, я знаю причину... Дядя Леня любил играть в лапту с мальчишками, хотя ему за сорок было. Чуть услышит гвалт на поле – уже тут как тут. Ребятишки принимали его в команду на равных, и он голил в поле вместе со всеми, бегал, высунув язык, скакал козлом или ловко падал, когда его хотели осалить. Однажды мы играли с дядей Леней в одной команде, и в самый разгар Колька схватил мяч, спрятал в карман и подался в кусты на перекур. Дядя Леня уговорил сыграть еще, и Колька подал ему мяч, но дядя Леня врезал по нему так, что он со свистом улетел от поскотины до самой реки. Все думали, что мяч упал где-нибудь на берегу, возле дремлющих инвалидов или в цветущем черемушнике, но когда прибежали на реку, бодрствующий Илькин батя показал губами на середину. Мяч плыл к повороту, словно вмерзнув в остекленевшую воду. А рядом как назло ни лодки, ни плота, а вода весенняя, ледяная... Колька сначала бросился на дядю Леню с битой, но остановился в шаге, и слезы брызнули из его побелевших глаз. Затем он кинулся к берегу, сорвал с себя рубаху, штаны и нырнул. Мужики всполошились, кто-то уже гнал ребятишек за лодкой, кто-то охал – утонет малец! Ведь за мячик утонет! Но Колька уже догнал мяч, схватил его зубами и поплыл к берегу. Он выскочил из воды, не выпуская изо рта мячик, поднял свою одежду и пошел в деревню. В глазах у меня остались лишь его белое от напряжения лицо и черный рот...

Для детства причина ненависти была самая основательная и не вызывала сомнений. У дяди Лени среди ребятишки, да и среди взрослых тоже не было врагов, кроме Кольки, хотя дядя Леня работал лесником и заведовал всеми лесами вокруг Божьего озера. Только вот почему-то мой отец недолюбливал его. Стоило ему появиться на берегу – а он приходил непременно, едва лишь замечал инвалидов, – как отец просил перенести попону за кусты, брел туда сам и уж больше не дремал и меня не отпускал ни на шаг. И дядя Леня к нам не подходил, сидел

с фронтовиками и что-нибудь рассказывал, хохотал, отчего дремлющие инвалиды веселели, оживали и – слышно – вспоминали войну, только смешные из нее случаи. Дядя Леня дня не был на передовой, угодив в охрану завода, однако про войну рассказывал блестяще: волосы дыбом и кровь в жилах стыла. Все знали, что он сочиняет и врет, но слушали с удовольствием, разинув рты, и не считали болтуном. Только отец иногда ворчал:

– Ну, понес... Тыловая крыса. И вся ихняя порода такая...

В то время я не понимал этой обиды и как-то раз, дома, стал рассказывать сказки про Божье озеро, которых уйму знал (или придумал сам) дядя Леня. Говорил взахлеб, а отец почему-то смурнел и печалился, хотя слушал.

– Хватит болтать! – вдруг оборвала меня мать. – Нагородят тебе семь верст до небес, а ты и слушаешь... Большой уже, понимать должен!

Я не понимал и не знал, что должен понимать. Дело в том, что меня тянуло к дяде Лене, впрочем, как и другую великановскую ребятню. Я чувствовал, как и дядя Леня тянулся ко мне: встретит – обязательно в гости позовет и обязательно сунет гостинец, словно специально лежащий в кармане, – несколько конфет, баранку, пряник. А если в лапту играть, то спросит сначала, в какой команде я, и непременно попросится ко мне. Или поймает на улице, схватит и давай подбрасывать вверх так, что крыши домов видно. Тогда я думал, что все это оттого, что у дяди Лени нет своих ребяташек.

Так вот, когда на берегу появлялся дядя Леня, Колька Смолянин забирал свой мячик и тут же уходил.

– Здорово, инвалидная команда, – громко говорил дядя Леня и смеялся. – Ожили, значит? Оклемались?... Погодка-то, а? А цвету сколь нынче! И мертвый на ноги встанет!

Мужики поддакивали, кивали, тянулись в карманы за кисетами. И вновь с пронзительной силой ощущался запах цветущей черемухи, благостное вечернее тепло, легкое марево над огородами и стремительные росчерки стрижей. Отстрелявшись, улетали куда-то штурмовики-бекасы, а на их месте, в той же вышине, паслись невидимые глазу и звонко мекали птицы, которых у нас называли барашками.

После веселой болтовни и смеха разговор на берегу начинался неторопкий и серьезный. Чаще всего шел сговор с дядей Леной: инвалиды и бабы, потерявшие кормильцев, просили его наготовить дров, а те, что сами еще были в состоянии, просили отвести делянку в березнике. Дескать, осинником хоть топи, хоть не топи – все равно изба холодная; березовых же бросил три полешка – и теплынь. Да и запах-то от березы какой! Это не горькая осинушка... Дядя Леня никому не отказывал в дровах, пилил каждый год и делал это скорее всего не от жалости к вдовам и калекам и не из желания помочь или угодить своим односельчанам, а от какого-то ребяческого азарта. Он будто играл, когда пилил дрова, и вместе с ним играли ребяташки, которых посылали ему в помощь. Дело в том, что дядя Леня владел единственной в Великанах мотопилой. Тогда их в леспромхозе-то было – по пальцам перечесть. После лучков и краскотов мотопила казалась чудом, и этому чуду не могли нарадоваться.

– Едрит т-твою корень! – восхищенно кричал дядя Леня, отпиливая первую чурку. – Как в масло лезет! Ну придумают же, а?

Он пилил уже года три и все никак не мог привыкнуть к мотопиле, как, например, привык к машинам и тракторам. Поэтому заказы на дрова принимал с удовольствием, вот только березника не обещал и оправдывался:

– Да где ж его взять-то, мужики? Ведь подчистую на ружболванку вырубил березник-то! Вы у своих баб спросите, они рубили.

– Уж пошшибай где-нибудь, – уговаривали фронтовики. – Хоть с воз бы, хоть по праздникам да в морозы потопить. Запах-то какой, изба-то веселая делается...

– Никак не могу, мужики, – вздыхал дядя Леня. – Какая береза осталась, так запрет на нее. Вон американцы «холодную войну» объявили, грозятся все... Приклады-то из чего делать, если на нас пойдут?

– Теперь прикладов и не надо будет, – тоже вздыхали мужики. – Теперь как дадут атомом! Ведь атом какой-то придумали...

– Ничего, и у нас атом есть! – подхватывал кто-нибудь. – Мы тоже как дадим! Где только кости собирать будут!

Разговор переходил на политику, и тут уж поднимался дядя Саша Клейменов, Илькин отец. Он вскакивал, махал култьями в длинных рукавах.

– Дадим, дадим! Всю землю только загадим! Разве это война, атомом-то? Мы ж люди, не крысы, чтоб друг дружку травить! Раз между нами распря выйдет, так по-людски драться надо, сила на силу. А то выходит, кто хитрей, кто со спины зайдет и вони напустит.

Тогда я еще не знал, что такое атом, но пугало само слово, пугало то, что мужики вдруг злились, крепко ругались, но в их ярости слышалась какая-то безысходность, беспомощность против этого атома. И уж если фронтовики ярились от него и забывали о дровах, о запахе черемухи, о благодатном тепле и барашках в высоком небе, то, видно, атом и в самом деле штука страшная.

– Ему ведь, гаду, по морде не съездишь, – объяснял про атом дядя Саша Клейменов. – Его руками не пощупаешь. Дыхнул только им и – готов. Он ведь, паскуда, и не пахнет ничем. Воздух да воздух, пыль да пыль...

Мой отец, лежа поодаль от мужиков, прислушивался к их голосам и вдруг начинал дышать быстро, часто, словно спешил надышаться хорошенько чистым воздухом, пока его не загадили.

Дядя Леня не дожидался, когда мужики наговорятся про атом и политику и чем этот разговор закончится. Он вдруг говорил, что все-таки найдет березовых дров по возу на брата, но только последний раз, и уж на будущий год ни полена не будет. И правда находил – валили самые кривые и самые прямослойные березы, которые не годились на приклады. После его обещаний мужики опять оживали, вертели новые самокрутки, шурились на заходящее солнышко, на белые сугробы цветущей черемухи по берегам Рожохи и прислушивались к бормотанию пасущихся в небе барашков.

– Ты мне, Алексей Петрович, сделай-ка новую ногу, – осторожно просил дядя Вася Туров, стуча по своей деревяшке. – Не подходит мне эта, жмет и шаг хорошего нету. Ты уж прости, но не подходит. Ты мне как-нибудь эдак сделай, чтоб как у Петрухи Карасева. Он на своей бегом бегают. А у меня жидковата.

Дядя Леня, кроме всего, еще и столярничал, немного бондарничал, одним словом, при дереве жил и от него кормился. После войны три великановских мужика на его протезах ходили: двум он сразу угодил, а вот Турову почти каждый год делал по новой ноге и все не так.

– Да тебе хоть живую сделай – не угодишь! – отмахивался Петруха Карасев. – Я восьмой год на своей хожу, так мне и настоящей не надо. А ты все кобенишься.

– Раз неудачная вышла? – не смущаясь, говорил дядя Вася Туров. – Для тебя бы крепкая была – мне не подходит. Ты уж сделай, Петрович! Кто знает, сегодня жив, завтра – нет. Хоть на рыбалку походить, на охоту... А на этом куда? Жидковат этот-то...

Дядя Леня соглашался, делал новый протез, но и тот не подходил, и кто знает, сколько ему было сделано этих деревяшек? Ростом Туров был в сажень, все косяки в деревне лбом считал и весом в полтораста килограммов. Дядя Леня выстругивал ему протезы соответственные, среднему мужику не то что ходить на нем, поднять-то тяжело. На деревянные шла береза хорошая, витая, та, что годилась на приклады и топорища. Век ее не износишь. Но дядя Вася Туров ходил на новой ноге месяц, другой, прислушивался к ней, присматривался, будто свежор к снохе, и браковал.

– Ты еще маленько потерпи, Василий, – уговаривал Турова Петруха Карасев. – Сказывают, нам скоро машины будут давать, бесплатные легковушки. Вот уж покатаемся, а? Как начальство раскатывать будем!

Об «инвалидках» в Великанах знали давно и ждали, однако говорили, будто завод, что их выпускает, который год уже делает, делает и все никак сделать не может столько, чтоб всем хватило. Об «инвалидках» в Великанах мечтали, и это, пожалуй, были самые хорошие мечты на весеннем, цветущем берегу Рожохи. Да вот беда – разговоры о персональных легковушках всегда обрывал кто-нибудь из стариков или совсем уж больных инвалидов.

– Вы все тут про машины да про деревянные ноги, – неожиданно вступал кто-нибудь из них. – Ты мне, Петрович, обещай, что гроб сделаешь. Хочу, чтоб строганный, да чтоб доски-то сухие были. Ты уж, Лень, заранее построгай да сушить положи. Как раз и готовы будут...

И никто из «инвалидной команды» не обрывал говорящего, никто не спорил, не обнадеживал зря, мол, что ты помирать собрался, поживи еще, рано про доски говорить тебе. Все помалкивали, вертели по очередной самокрутке и полной грудью вдыхали сладкий, чуть вяжущий дух цветущей черемухи. Каждый год кто-нибудь не доживал до весны, до первого теплого дня, когда великановские домочадцы выбирались на разряженный в белое, праздничный берег Рожохи.

Наверное, и мой отец, преодолев свои обиды на дядю Леню, попросил бы его когда-нибудь о сухих и строганных досках. Но не успел он. Однажды я привел его на берег, уложил на попону и подsunул под голову веник из цветущей черемухи. Тишина на реке была редкая, лишь в небе бесконечно звенел невидимый жаворонок. Отец как услышал его, так сразу замахал на меня рукой.

– Иди! Иди играй! А я полежу, мне так хорошо!

А сам привстал на локтях и слушает, тянется лицом в небо, тревожный и радостный одновременно.

Я убежал играть в лапту и заигрался. Мужики один по одному проснулись, закурили и окликнули моего отца, кто-то веник из-под головы потащил...

Когда я прибежал на берег, «инвалидная команда» сидела кружком возле него, спокойно сидела, строго. И беседовали негромко, даже как-то мечтательно, словно о машинах-«инвалидках». Дескать, хорошо помер, тихо, под белой черемухой. Дай бы бог каждому так.

Я плакал и сжимался от жалости. И сжимал в руках мячик, по-настоящему упругий резиновый мячик, в утешение мне отданный Колькой Смоляниным.

С гулом валился подмытый берег, вздрагивала цветущая черемуха. А в небе над нашими головами заходил в очередное пике невидимый бекас-штурмовик...

* * *

Потом лесник дядя Леня Христолюбов увел меня на Божье озеро и рассказывал о великанах, которые жили когда-то давным-давно на берегах. Он говорил, что великаны были белые, страшно высокие, – страшно, потому что непривычно видеть людей выше деревьев. И что березы на Божьем растут только там, где ступала нога великана, – выходило, что они исследовали не только берега озера, а всю округу на много километров.

О «лесных дядях» я слышал с тех пор, как помнил себя. Говорят, их совсем недавно кто-то встречал в лесу, будто еще мой дед, которого на свете уже не было. И еще один старик из Полонянки однажды столкнулся с великаном в лесу, только почему-то старик этот никак мне не хотел про свою встречу рассказывать. Потом о великанах рассказывали проезжие цыгане – они-то, может, врал, чтобы выманить у нас, ребятни, лишнее яичко. Короче, в детстве все эти рассказы походили на сказки и начинались сказочно, так, что замирало сердечко: «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были великаны...» Потом я слышал ее уже в

школе. Учились мы, как сводные дети в большой семье, сразу четыре класса вместе – с первого по четвертый. После войны ребятишек в школе не хватало. Одни арифметику зубрят, другие азбуку, третьи родную речь, старшие уже Тургенева знают – столько сразу намешано, что учительница и сама-то с толку сбивалась. И вот однажды потух свет, что бывало частенько, дежурный сходил к уборщице за спичками и зажег лампу. Керосину тогда не было, жгли какую-то ржавую солярку, которая давала махровую, щедрую копоть и призрачный, лунный свет. Учительница тоже обрадовалась, собрала нас плотнее и стала рассказывать про великанов. Только сейчас это уже не походило на сказку, хотя будто и слова остались те же, и герои, и даже все происходило на берегах Божьего озера. Сказочность каким-то странным образом смешивалась с реальностью, и невозможно было не поверить в великанов, но и верить без оглядки тоже нельзя. Был ли на свете, к примеру, Вольга или Микула Селянинович? Или не было их?

Но когда я услышал о великанах от дяди Лени да к тому же много чего увидел, то сразу поверил, что они были на самом деле. Как же было не поверить, если село наше называлось Великаны, если озеро – Божьим, поскольку в давние времена «лесных дядей» боялись и считали их богами.

Где уж там не верить, если я своими глазами, да не при свете коптящей лампы, а ясным днем, увидел сначала квадратные углубления с расплывшимися бровками – точь-в-точь как будто изба стояла или огромная землянка, потом и вовсе – могильные холмы, выстроенные в ряд, только такие длинные, что жуть брала, – метров до шести! А ко всему прочему тетя Варя, которая работала в лесу и подолгу жила на Божьем, копала яму, чтоб отжечь уголь для самоваров, и выкопала целую грудку горшочных черепков.

– Ишь, бабье-то у них косорукое было, – сказала она так, словно речь шла о наших великановских бабах. – Сколько горшков-то перебили... И горшки хорошие были, с узором.

Все это было здесь, на берегах озера, среди почерневших пней от срубленных в войну берез. Просто когда здесь стоял лес, ни ям, ни могильных холмов не замечалось. Они скрадывались деревьями, к тому же когда ходишь по белому-белому лесу, всегда хочется смотреть не под ноги, а вверх, в кроны, или уж по сторонам; и тогда рябит в глазах от мелькания белых, с черными родинками, стволов. Но вот срубили березы, и все сразу обнажилось, как обнажаются старые шрамы на остриженной под ноль голове.

И уж совсем сразил меня лесник дядя Леня, когда показал берцовую кость – как раз ему до пояса, а потом позвал в черемуховые заросли у самой воды и, раздвинув ветки, шепнул горячо:

– Гляди!

Я обмер. На старом пне стоял человеческий череп, величиной с двухведерный чугун и такой же черный от старости.

Я глядел на череп, он на меня...

– Ну? – спросил дядя Леня. – Видал? Теперь веришь, что великаны были?

– Верю, – едва вымолвил я.

– Вот так, – подытожил он. – А больше мне никто не верит. Я всяким ученым писал, рисунок прикладывал, сюда посмотреть звал, они так и не приехали. И даже не написали. Потому что не верят.

Потом он отошел в сторону, встал между двух оставшихся берез среди молодого подлеска и глянул так грустно и пристально, что у меня мороз побежал по коже, а в голове полыхнула мысль – бежать!

Сам дядя Леня ростом был под два метра, могучий и белый, как береза. Ни дать ни взять – «лесной дядя»...

2. Шлем

На похороны отца мамин брат Федор Иванович не поспел. Жил он в соседней деревне Полонянка и, говорит, в это время был как раз в городском госпитале, опять лечился от контузии. Зато он первым из родни прикатил на девять дней. Личностью он был легендарной, дядю Федора знали во всей округе от мала до велика, хотя бы даже потому, что ездил он на трофейном немецком мотоцикле, которые только в кино показывают, причем на этот случай обязательно надевал стальную каску со звездой, широкие хромовые галифе и такую же тужурку. Где бы он ни появлялся, его везде принимали за большое начальство, поскольку ходил он неторопливо, важно, только чуть нараскоряку от постоянного сидения на мотоцикле. Впрочем, до войны дядя Федор и в самом деле был начальником сплавконторы в Полонянке – чин, по нашим понятиям, великий. А на фронте он стал офицером и домой вернулся в звании майора. У нас на шесть деревень было всего три офицера – два младших и один лейтенант, так что майор казался не меньше генерала. Однако незадолго до Победы дядю Федора сильно контузило и он оглох. Сначала совсем, но затем помаленьку отошел на одно ухо. Дядя мечтал после войны остаться в армии и наверняка бы выслужился до генерала, если бы не контузия. Еще с фронта он писал моей матери письма, которые теперь лежали в медном чайнике вместе с отцовскими, и сообщал о своих геройских делах. Я часто перечитывал эти письма, его и отца, сравнивал, и сразу было видно, кто ведет свой род от великанов, а кто – от маленьких, обыкновенных людей. Еще при живом отце я читал эти письма и таил грех – завидовал сыновьям дяди Федора и чувствовал какое-то щемящее разочарование за себя и отца. Почему он был не такой боевой и храбрый, как дядя? Ни городов не брал, ни орденов не получал из рук командующего фронтом Рокоссовского? Однажды не стерпел и спросил отца, что думал. Отец тогда сидел на кровати, долго молчал, теребил виновато край подушки, а потом сказал:

– Меня же, Степа, в сорок втором убило. Если б тогда не убило, может, и я тоже стал...

И вдруг ткнулся в подушку, отвернулся и заплакал.

Мать в это время мыла пол в горнице и, видно, все слыхала. Она отхлестала меня половой тряпкой, загнала под печь и, сердитая, всклокоченная, села к отцу на кровать. Она хотела погладить голову отца, но руки были грязные, и тогда все-таки погладила его запястьем. Потом опустила свою голову на отцово острое плечо, накрытое одеялом, и тоже заплакала. Плакала и держала на весу руки с растопыренными пальцами, чтобы не запачкать постели. Глядя на них, и я заплакал...

Отцу я больше подобных вопросов не задавал и твердил про себя, что мой отец – тоже храбрый и героический солдат, придумывал всякие истории, как он закрывал грудью амбразуру и ему из пулемета порвало легкие, или как в него попала мина, но не взорвалась, поэтому в госпитале его не оперировали. Просто саперы обезвредили и вынули ее из груди. О таком случае я читал в старых газетах.

Дядя Федор любил отца и очень жалел, что не успел на похороны. Он и правда по несколько раз в год лежал в госпитале, надеясь все-таки излечить контузию и снова пойти служить.

– Эх, Павло! – говорил он отцу. – Жалко, прямо не могу! Ведь на Победу мне бы подполковника дали. А то, может, и через звание! Ты понимаешь, нет? Сейчас-то уж генерала бы получил!

– Понимаю, понимаю, – тихо кивал отец. – Что сделаешь, война...

– Да не война! – резал дядя Федор. – Собственная дурость!.. Мне ведь ординарец каску давал! Говорит, наденьте, товарищ майор! Так просил, так просил... А я – что? Как всегда, грудь нараспашку и – вперед!.. Дура-ак!

Если рядом оказывалась его каска – а она была рядом частенько, – он с силой пинал ее и клонил голову. Говорил он всегда громко, как все глухие, а потом незаметно, будто почесывая возле уха, приставлял к нему ладонь и слушал. После войны за эту каску дяде дали прозвище – Шлем. В глаза-то по привычке величали, разговаривали уважительно, а случится увидеть на дороге, так обязательно говорили – вон Шлем опять куда-то покати! С фронта дядя Федор привез много всякого трофейного добра. От станции до Полонянки на своем мотоцикле приехал, и, говорили, полная коляска была и два мешка на заднем сиденье, с рулонами хрома. Правда, он все тут же раздал односельчанам, раздарил на своих встречах кому настенные часы, кому аккордеон, кому мануфактуры на костюм. Даже мотоцикл хотел подарить моему отцу – все думал вылечиться поскорее да назад, в армию.

Приехал дядя Федор и даже в избу не зашел, сразу на кладбище позвал. Мать засуетилась, хотела прихватить с собой водки и закуску, чтоб помянуть на могиле, но дядя скомандовал, чтоб мы селились на мотоцикл. До кладбища пешком – рукой подать, – но мы поехали на мотоцикле. А еще дядя добавил:

– И вообще, мне не наливай и не подавай! Тебе же хуже будет. Я пьяный дурной делаюсь.

На кладбище мы встали у отцовской могилы, дядя свой шлем снял, голову опустил. А вокруг мотоцикла уже ребятня вертится, Колька Смолянин за руль сел и загудел.

– Значит, схоронила Павла? – отчего-то спросил дядя Федор. – Ну и как дальше жить собираешься?

– Как-нибудь, – тихо проронила мать. – Теперь-то не пропадем, не война. Если что – люди помогут...

– Чего? – не понял дядя. – Кто поможет? Он, что ли?

– Люди, говорю. – Мать разгладила подсохший песок на могиле.

– Ну-ну, кроме брата родного, никто не поможет, – проворчал дядя. – А почему крест поставили? Кто приказал?

Мать замялась.

– Он сам хотел... Говорил... в Бога не верю, а под крестом...

– Отставить! Здесь солдат лежит, звезда полагается!

Он держал каску на сгибе левой руки, а другую тянул по шву, будто в почетном карауле.

– Эй, Шлем! – вдруг крикнул Колька Смолянин. – Дай прокатиться?

Дядя не услышал, но я погрозил Кольке кулаком.

– Чего ты вертишься? – одернул меня дядя Федор. – Возле отца стоишь, возле солдата!..

Кто здесь лежит? Кто, спрашиваю?

– Папка, – сказал я.

– Ну то-то! Стой как полагается! Балбес же растет!..

– Не кричи на него, – не поднимая глаз, сказала мать. – И не одергивай.

Дядя Федор смерил мать взглядом, уставился на крест.

– У меня голос такой... Строгий, командирский.

С кладбища мы вернулись домой и стали созывать на поминки. Впрочем, особенно-то и звать не пришлось: все в Великанах помнили, и скоро к нашей избе пошли мужики и бабы, приехавшие с полей, «инвалидная команда» и старики из-под отцветающей черемухи на берегу Рожохи. Стол накрыли во дворе, не ахти какая еда была, вместились все сразу, только ребятнишки, как водится, висли на плетне и жевали поминальные блины. Меня дядя посадил рядом и не отпускал от себя. Я знал, что ребятнишки ждали не блинов, а меня с мячиком, которым теперь владел я. За столом командовал дядя Федор, поэтому все молчали, а он говорил. Он рассказывал про моего отца и сначала не пил, лишь поднимал полный стакан за помин души и ставил назад. Если бы он стал говорить о его подвигах, я бы в рот ему глядел, но дядя, наверное, сам об отце знал не много, все то, что знали все. Правда, он говорил хорошо, складно, как радио возле клуба, и фронтовики, привыкшие к дисциплине, перебить его не смели. Я потом

много раз каялся за ту минуту – черт меня дернул за язык! – когда попросился у дяди пойти играть в лапту. Но ребяташки на плетне уже изнывали от ожидания, махали мне, звали, и колья под ними трещали и опасно клонились во двор (мне же потом забор городить).

Дядя Федор, услышав просьбу, опустил голову, и шея его побагровела.

– Мячик у меня, – я показал мячик, – Колька подарил...

Он взял мячик и вдруг с силой бросил его через плетень.

Ребяню как ветром сдуло. Лицо у дяди перекошилось, он схватил стакан и выпил в два глотка. Колька Смолянин сидел на мотоцикле за воротами и, пригнувшись к рулю, гудел на высоких оборотах.

– Та-ак, – протянул дядя. – Отца твоего поминаем, а ты играть? Хорош дух, не надо двух.

– Да пусть идет, – сказала мать. – Ребенок же...

Дядя налил еще стакан и выпил. Я сидел уже верхом на лавке, готовый перекинуть вторую ногу и вылететь за ворота, однако он положил мне руку на плечо и развернул к себе.

– Вот, значит, какой ты растешь... А ты мне что говорила? – Он глянул на мать. – В чем мне клялась? Видишь теперь?.. Кровь, она и есть кровь. Порода...

– Ну, Федор, тебе совсем пить нельзя! – рассердилась мать. – Чего ты начал-то? Чего?

– А я предупреждал – не наливай! – отрубил дядя и выпустил мое плечо. – После контузии я дурной делаюсь!

– Да ты вечно контуженный, – отмахнулась мать. – Сиди-ка лучше и говори. Ты хорошо говоришь... Не надо сегодня шуметь. Поминки...

– Кому, видно, поминки, а кому – гора с плеч... – Дядя пристукнул кулаком.

Гости сидели потупясь, инвалиды шваркали самокрутками, обжигая пальцы. Я придвинулся к матери и ощутил, как дрожит ее рука у меня на темени. На лаптошной поляне звонко ойкнул под битой мой мячик, взвился в небо и шлепнулся далеко от нас...

– Разрешите обратиться, товарищ майор? – вдруг весело спросил дядя Леня. – Слово имею!

– Отставить! – рявкнул дядя. – А ты что сюда пришел? Звали?

– Перестань, Федор! – оборвала его мать. – Он гроб делал, хоронил. Без него бы...

– Обошлись и без него бы! Это ты все привечаешь, ты! Как же!

За столом совсем стало тихо, и барашек закричал пронзительно и жалостно, словно от стада отбился. Бабы вдруг спохватились, начали выходить из-за стола, заговорили разом про избы, про ребяташек и хозяйство, кланялись и тянули за собой своих мужиков. И жена дяди Лени, тетка Маруся, тоже потянула своего. Однако дядя Леня тихонько выматерился и, выдернув руку, подпер ею подбородок. Мать стала уговаривать, мол, посидите еще, помяните, а коров рано доить, успеете, но все это уже было лишним: друзья и соседи стоя пили посошок, желали отцу моему земли пухом и уходили. Скоро за столом остались мы с матерью, дядя Федор и дядя Леня с женой. Я чувствовал, что произошло что-то неловкое, нехорошее и оно еще не кончилось, поскольку дядя Федор сидел багровый, а мать расстроенная.

– Спасибо, братец, – сказала она. – Устроил поминки, разогнал людей...

– А ты, Дашка, молчи! – обрезал он. – Каково мне людям в глаза смотреть, подумала?.. Это ты зенки свои бесстыжие выкатила! Плюй в глаза, так все Божья роса... А мне, герою войны?!

– Герой! Кверху дырой! – бросила мать. – Да лучше бы ты и не приезжал!

– Чего?.. А! Конечно, родню свою можно и побоку! – Дядя вскочил. – Только Павло мне был брата роднее! Потому что человек он был! Человек! Защитник отечества своего! Не как этот! Крыса тыловая!

– Пошли, пошли, – зашептала тетка Маруся. – Не связывайся, Леня. Видишь, не в себе человек! Потом скажешь...

– Нет, я сейчас скажу! – Дядя Леня опрокинул скамейку и подошел к моему дяде.

– Ну что ты мне скажешь? – взвинулся тот. – Что ты скажешь мне, боевому офицеру?
– Да я вам сейчас обоим! – воскликнула мать и выдернула из плетня палку. – Совесть-то поимейте на поминках! Пошли все отсюда! Глядеть стыдно! Люди увидят...

– Успокойся, Дарья, – трезво сказал дядя Леня. – Я с ним драться не буду. Я только скажу...

– Говори, говори! – подзуживал дядя Федор, наступая и нехорошо бледнея. – А? Не слышу?

– Павел-то человек был, все понимал! – сказал дядя Леня. – Сильный человек был! Слава ему небесная!.. Но тебе-то что надо? Что ты воду мутить приехал? Шабаш, Федор! Забыть пора! Навек забыть!

Дядя Федор неожиданно отпрянул и тяжело замотал головой, словно хотел взять на калган.

– Забыть? – простонал он. – Забыть, как мы там... А вы с братом по тылам? Как вы... Да я вашу породу!..

Я бросился к матери, открыл рот, чтоб крикнуть, но голос увяз в сжатом горле. Дядя Федор выхватил из кожаных штанов немецкий пистолет и лихорадочно дергал затвор. А дядя Леня почему-то не убегал, не прятался и не старался хоть как-нибудь защититься. Что-то больно ударило мне в щеку и отлетело в песок. Я увидел желтый тупоносый патрон и понял, что дядя Федор, дергая затвор, загоняет патроны в ствол, но тут же и выбрасывает их. То ли сама рука, сведенная судорогой, повторяет одно и то же движение, то ли он хочет загнать сразу все патроны и сразу всеми выстрелить в дядю Леню. Мать онемела при виде пистолета, и поднятая палка медленно вываливалась из ее руки. А дядя Федор хрипел перекошенным ртом:

– Жен наших пачкать!..

И ничего мне больше не запомнилось, кроме этого хрипа. Кажется, я еще слышал шелчок – может, удар бойка по капсюлю, а может, в голове у меня что-то щелкнуло, потому что я дальше ничего не помнил. В глазах стояло – в сознании нет, будто я глядел на черно-белую фотографию. Только уже на этой карточке почему-то было три человека: дядя Федор с пистолетом, прямой и белый, как стенка, дядя Леня и еще одна темная фигура в шали – тетя Варя...

Я до сих пор не могу понять, что тогда случилось и как все обошлось. И спросить у кого-нибудь боюсь, потому что никто не любит и не желает вспоминать тот случай на поминках. Или они все тоже на какой-то миг потеряли память? Стараюсь вспомнить, откуда тогда взялась у нас во дворе тетя Варя – за столом ее не было, когда поминали, кажется, и в Великанах ее не было, иначе бы ее позвали на девять дней. Значит, она находилась на Божьем озере, где рубила подлесок на конные дуги.

И почему не выстрелил пистолет? Дело в том, что дядя Федор выбросил из магазина всего четыре патрона – я нашел их утром, – пятый сидел в стволе с целым капсюлем, хотя курок был спущен. Тогда я уже понимал в оружии, особенно в трофейном: с фронта его привозили много, и я лет в шесть пробовал шмалять из «вальтеров», «браунинга» и русского нагана (последний пистолет отобрали у Кольки Смолянина в пятьдесят восьмом году). У дяди Федора был «вальтер». Я нес его в руках, когда мы с матерью этой же ночью пошли топить его в Рожоху. Единственное, что сказала мне мать, – то, что она отняла его у дяди из рук, когда пришла тетя Варя. Значит, либо сам дядя снял его со взвода, что маловероятно во время приступа контузии, либо мать, которая уж точно в оружии не понимала и боялась его. Потому я и нес топить «вальтер» и по дороге незаметно вытянул обойму с тремя патронами – хоть ее спасти! – и в патронник заглянул на целый, четвертый патрон. Так кто же снял пистолет со взвода?

Окончательно я пришел в себя, когда в нашем дворе за поминальным столом была мирная обстановка. Дядя Федор и дядя Леня сидели по разным концам стола и одинаково подпирали головы руками. На лаптошном поле звонко щелкал мой мячик, и перекликались в небе сразу несколько барашков.

А еще почему-то никто не слышал, как Колька Смолянин угнал мотоцикл. Помню, еще в начале ссоры он сипел и гудел на нем. Мотоцикла мы хватились с мамой только ночью, вернее, под утро, когда ходили топить пистолет. Утром выяснилось, что Колька откатил его от нашего двора, завел и часа полтора катался по Великанам, и Любку свою катал: люди видели. Он не нашел, где включается фара, и в темноте врюхался в овраг за поскотиной. Любка вылетела из коляски, а Колька ушибся грудью о дерево, но когда его мужики приперли, он и виду не показал, что больно. Лишь когда мы пошли купаться, то увидели синяк во всю грудь, и курить он с месяц не мог, задыхался, но врал, что бросает.

Тетя Варя с матерью и тетей Марусей поминали отца. Голова моя лежала у матери на груди, и это стесняло ее движения.

– А ты, Феденька, постарел, – говорила тетя Варя. – Вон и глаза желтеют... Давно ли зеленые были? Помнишь, нет? Помнишь, как нас на покосе-то щупал? Это же вот было, в прошлый покос?

– Да ну тебя, – хмуро буркал дядя Федор. – Какой прошлый?

– Что же я, не помню? – тихо засмеялась тетя Варя. – Как сейчас помню... Мы-то совсем девчоночки... Да, а у тебя глаза зеленые еще были... А вот уж и Павла убили. Может, и моего тоже?

– Нет-нет! – сказала мать. – Твой живой, воюет, ага! Павел-то видал его.

Тетя Варя горестно пощелкала языком, стянула шаль с головы. Я высвободился из материнских рук и отсел. Взрослые зачем-то всегда обманывали тетю Варю, говорили, будто война все идет, и она верила. Говорили, будто она умрет, если узнает правду. Давным-давно убитый ее жених не мог вернуться домой, и, по разумению тети Вари, война не могла кончиться, пока он не придет. Еще болтали, что она совсем стала слаба рассудком, хотя мне казалось – рассуждала она, как все.

– Вот ведь нынешние дети... Самой-то некогда было сходить, а своих варнаков посылала к Павлу узнать – не сходили. Теперь и Павла нет, спросить не у кого...

– Ты не горюй! – успокоила тетка Маруся. – На фронте сейчас на поправку пошло, наступление...

– Да ведь я-то не слышу с Божьего, – вздохнула тетя Варя. – Бывало, утречком выйду – слышать радио в деревне. А теперь хоть и слышать, но сводку-то не передают что-то. Ребятишек пошлю узнать, так они заиграются, забудут.

– Наступление, вот и не передают...

– Дай бы бог, дай бы бог... А тебя, Федя, значит, по чистой?

– По чистой, – хрипло выдавил он. – Ты громче говори, я теперь почти глухой... Даже сердца своего не слышу.

А в моих ушах вдруг послышалась его хрипящая и пугающая фраза: «Жен наших пачкать...»

Смысл ее тогда еще не доходил до сознания, но я предчувствовал, угадывал за ней что-то притягательное и отвратительное одновременно, как будто снова, забравшись на сеновал конбазы, не хотел и ждал, что там произойдет.

Наутро дядя Федор ничего не помнил. Он встал понурым, тоскливым, так что было его жаль. Он о чем-то тихо и виновато поговорил с матерью; мать сердито отчитывала его, а он только бормотал, что ему совсем нельзя пить. Затем он, босой, в кожаных штанах и майке, вышел во двор и сел на завалинку.

– Отец у тебя – славный человек был, – сказал он мне. – Ты поступай в жизни, как он.

Потом долго молчал и шарил в глубоких, по локти, карманах штанов. Печальные глаза его стекленели и чуть-чуть перекашивали рот. Я глядел на него с опаской, украдкой, но пристально: он привораживал взгляд и волна вчерашней неприязни к нему слегка притуплялась.

– Ага, вспомнил! – вдруг воскликнул он. – Степан, отдай «вальтер»! Это не игрушка.

– Мы его утопили в Рожохе, – сказал я.

Он сразу же поверил, махнул рукой:

– Утопили, ну и хрен с ним! У меня еще есть, какие хочешь... Главное, чтоб пацанам в руки не попал.

Мать опаздывала на утреннюю дойку, однако он задержал ее во дворе, глянул на ее ноги, потом на мои, покачал кудлатой головой и вдруг махом снял кожаные штаны.

– Вот... – протянул матери. – Себе ботинки пошей, а то и две пары, чтоб выходные... И ему ботинки, парень-то босый.

Мать не отказалась, приняла, спрятала в сундук. А он снова поймал ее за руку, заглянул в глаза:

– Сестренка, Дашутка... А может, мне к вам перебраться? Как вы теперь?.. Хозяйство... Безотцовщина...

– Эх ты, Шлем, – вздохнула мать. – Шлем ты железный...

– Да мне за тебя! – воскликнул он и замахал мне рукой. – Ну чего выставил уши? Дуй отсюда! Мигом за водой, матери помогать надо! Вон какой гаврик вырос!

В ту же минуту я понял, что он переедет к нам жить, несмотря на сопротивление матери. В общем-то ему было некуда деваться: два его сына погибли на фронте, жена в войну надорвалась на плотбище в Великанах и умерла года два назад. Третий сын Володя служил мичманом на подводной лодке, и дядя Федор считал его бестолковым и никчемным, поскольку он никак не мог выбиться в офицеры.

Дядя мой, Федор, был самым горьким мужиком из всех горьких, которых я когда-то знал.

Так оно и вышло. К сороковинам дядя Федор нагрузил свой мотоцикл скарбом, водрузил сверху клетку с курицами – единственными животными в хозяйстве, и подкатил к нашему двору. На поминках он не пил, потому и не скандалил, однако при всем честном народе и перед памятью отца моего поклялся, что вырастит из меня солдата, который уж точно дослужится до генерала или даже повыше. На следующий же день он съездил в военкомат и вернулся довольный: как сын погибшего на фронте (а отец хоть и умер дома, но считался погибшим) и как племянник боевого офицера я зачислялся в суворовское училище и теперь обязан был готовиться к службе. Мать, узнав об этом, сначала заплакала, схватила меня, прижала к себе, и я ощутил соль на губах. Только не понял, материны это слезы или мои...

– Не ревь! – приказал дядя. – Ты мне суворовца не расхолаживай!

Из-под сенцев вылез наш пес Басмач, прозванный так за лохматую, словно папаху, голову, поднял морду и тоже завыл. Он всегда выл, когда плакала мать.

– Не дам! – вдруг сказала мать и вскочила. – Хватит! За него отец два раза убитый! С нашего двора хватит!

– А ты не слышишь, что в мире делается?! – взъярился дядя Федор. – Американцы грозятся! А кто им отпор даст, если мы калеченые?.. Ты сама подумай! В колхозе-то ему что, хвосты быкам крутить? В леспромхозе ишачить? А в армии человеком будет, все казенное, чистое...

– Лучше в назьме да дома! – не сдавалась мать. – Не пущу!

Тогда дядя Федор сменил тактику:

– Знаешь, Дарья, он уже большой, как сам пожелает.

– Ты ведь не пожелаешь? – с надеждой спросила мать. – Ныне, вон говорят, если война будет, так страшная, атомная.

– Дело его, – отмахнулся дядя, словно неожиданно потерял интерес. Однако хитрил и усыплял бдительность матери, поскольку на следующий же день, когда она в четыре утра ушла на дойку, в шесть дядя сыграл подъем, вывел меня на зарядку и гонял вокруг огорода полчаса. Затем подоил и выпустил в стадо корову, накормил меня пшенной кашей и заявил, что отныне

я на военном положении. Это значит, мы будем заниматься строевой и огневой подготовкой, изучать матчасть и вождение мотоцикла, а его, дядю, следует звать «товарищ майор».

Суворовским училищем он меня покори́л. Кто из великановских ребятишек не хотел бы туда попасть?.. Но перед глазами были испуганная, плачущая мать, полуживой отец, безрукий дядя Саша Клейменов, другие инвалиды и сам дядя Федор. Он всегда хорохорился, но я-то видел, как иногда у него перекашивается лицо, пучатся глаза, и тогда он судорожными, корявыми руками закрывал его, убегал и уже на бегу не выдерживал – начинал постанывать, а потом сдавленно орал и катался по земле. Во время приступов он старался спрятаться, когда недослышал – крадучись приставлял ладонь к уху: только бы его не считали больным. Я все это видел и представлял себе войну не такой, как в кино. В пятидесятых годах фильмы о войне были черно-белые, и там не видно было, что кровь – красная и ее много. Черно-белая кровь не пугала, казалась неопасной, тем более она сливалась с черно-белой же землей. В том кино много кричали «Ура!» и лавина наших танков, солдат сметала напрочь глуповатых, крысopodobных фашистов. Но откуда же тогда брались инвалиды, сидящие под черемухой? Откуда похоронки, вдовы и сироты? Или только в наших Великанах мужики такие непутевые, что их так много убивало и калечило?

Я не видел настоящей войны, но представлял ее совсем другой. Однажды мы с мамой косили за Рожохой и я расхватил себе палец о литовку. Наверное, от того, что был разгорячен работой, кровь брызнула фонтаном, облила и косу, и рубаху, и скошенную траву. Мать перевязала рану, повела домой и дорогой успокаивала, что на фронте ранят куда сильнее и что надо терпеть, как терпел папка. И я терпел, однако ночью поднялась температура и в полусне-полужави я увидел войну. Вернее, берег Рожохы с голой черемухой, а на нем – великановских инвалидов, только что раненных. Из них хлестала кровь, а они катались по земле и орали, как дядя Федор во время приступа. А над ними стояли воткнутые в землю косы. Не было ни взрывов, ни стрельбы и даже гимнастеров с медалями...

Наверное, я тоже в бреду кричал, потому что, когда очнулся, увидел над собой отца.

– Покричи, покричи, – говорил он. – Когда кричишь – легче бывает, не так болит.

Нет, я больше никогда не видел этого сна и не видел этой страшной картины при слове «война». Точнее, не всегда видел. Ведь это слово можно произносить по-разному и слышать по-разному. Иной раз в чьем-нибудь разговоре с языка не сходит – война, война, война... Но бывает, раз скажут – и как в душу крикнут, как будто самого ранят.

А дядя Федор знал чем взять. С полчаса мы с ним ходили строевым по двору, распутивая кур, но когда мне надоело тянуть носок босых ног, дядя Федор достал из своего арсенала «парабеллум», посадил меня в коляску мотоцикла и повез в овраг за поскотину на огневую подготовку. Там он объяснил первый солдатский принцип учения.

– Если не доходит через голову – дойдет через ноги, – сказал он. – За каждый промах – три круга по берегам оврага.

Сначала он сам вlepил три пули в березовый пенек, затем дал пистолет мне. Я выпалил три раза и девять раз обежал овраг.

– Бестолочь, – заключил дядя. – У тебя в руках не топор и не лаптошная бита, а боевое оружие для поражения живой силы противника в ближнем бою.

– Оно немецкое, – сказал я. – Из русского я бы попал.

– Отставить разговоры! – прикрикнул дядя и полез на четвереньках из оврага. – Надо уметь из всякого, понял? Если у тебя в бою кончатся патроны, надо брать вражеское оружие.

– А у меня патроны не кончатся, потому что стрелять будет не в кого! – заявил я.

– Это еще почему?

– Потому что если будет война, то атомная. – Я тоже выбрался из оврага и сел, свесив ноги. – А мужики говорят, стрелять не в кого будет. Атомом дыхнул – и все, каюк...

Дядя Федор вдруг задышал тяжело, закурил головой и стал кричать:

– Дурак! Ты чего болтаешь?! Ты чего трекаешь?! Типун тебе на язык!

Он завел мотоцикл и, забыв надеть каску, помчался прямо по кочкам и рытвинам. Я побежал за ним, закричал, но он меня не слышал. Когда я приплелся домой, дядя Федор драл прутом Басмача. Басмач визжал и крутился на короткой привязи, а рядом лежала задавленная им курица.

– А тебе – три наряда вне очереди! – объявил он. – Завтра на покос! В летние лагеря!

Мы собирали сидор с провизией, инструменты, а я смотрел, возьмет ли он с собой пистолет. Дядя Федор не взял, однако учение на покосе продолжалось. По утрам он гонял меня по скошенному лугу, затем разводил огонь, грел завтрак; тем временем я стоял возле шалаша с молотком в вытянутой руке – тренировал крепость мышц. Косить я уже был привычный, к тому же впервые мы косили на широком, нормальном лугу, а не по кочкам и еланям, не ночами, как это было всегда. Дядя сходил в правление, там стукнул кулаком по столу, и ему отвели покос на колхозной земле как заслуженному на фронте офицеру. Так что было где разгуляться. Мы махали косами, сбивали траву в волнистые влажные рядки. Дядя в первый день ходил передом, однако на следующий я стал подрезать ему пятки. Он не хотел сдаваться, но и не хитрил, не придумывал причин, чтобы оправдать свою слабость. Он вдруг начинал белеть, сильно потел, иногда его качало, и, боясь упасть на прокосе, он втыкал косу, держался за нее и правил бруском полотно. Это походило на то, как он крадучись приставлял к уху ладонь, когда недослышал. И все-таки шел впереди чуть ли не до вечера. Наверное, ему было стыдно уступать двенадцатилетнему парнишке, он злился и от этого страдал еще пуще. Мне бы отстать, уступить ему – у меня и коса была меньше, и прогон уже, по силам, но мальчишеский азарт брал верх.

Вечером, когда спал зной и утих гнус, когда косить стало – милое дело, дядя Федор бросил литовку, схватился за голову и упал в траву. Он не успел даже отбежать, чтобы я не видел приступа. Он катался по земле и орал, зажимая себе рот. Я перепугался, на миг остолбенел, потом кинулся к нему, но он отпихивал мои руки, уползал в траву и, сдавливая крик, скрипел зубами. Приступ прошел так же резко, как и начался. Дядя Федор сел, отнял руки от лица и долго тупо смотрел перед собой. Я принес котелок с водой, он напился, облил голову.

– Вот такие дела, Степан, – сказал он тихо, и лицо его порозовело. – Ты не бойся, когда... И не смотри. Что тебе смотреть-то? Прошло ведь, и совсем не болит голова... Ну? Чего расселся? Давай еще ручки по две пройдем до заката.

Он снова встал впереди, старательно выкосил примятую траву и пошел дальше, захватывая прогон вдвое шире моего. Я больше не поджигал, делал вид, что отстаю, а дядя Федор оглядывался и покрикивал:

– Вперед, Степка! Вперед, суворовец!

А утром как ни в чем не бывало он вручил мне молоток и велел качать мышцы, которые необходимы для стрельбы из пистолета. Я стоял, целился молотком в колхозные стога, в березы, в пролетающих птиц и думал, что от косьбы вообще-то должны крепнуть все мышцы и вовсе не обязательно тренировать какие-то отдельные, но сказать об этом моему товарищу майору не смел – привыкал к дисциплине. Да и кто знает, может, впрямь у человека есть какие-то особые мышцы, нужные только для стрельбы?

После покоса дядя привез из района кучу подарков – хромовые сапоги, галифе и гимнастерку, сшитые из офицерского сукна на мой рост. Но главное – мелкокалиберную винтовку. От восторга у меня сперло дыхание. Дядя Федор обрядил меня, подпоясал укороченным офицерским ремнем, повесил на плечо винтовку и, не дав глянуть в зеркало, выставил перед матерью.

– Ну-ка, Дарья, глянь на своего солдата!

Мать глянула и сразу заплакала.

– Чего ты? – опешил дядя. – Гляди, орел-то какой!

– Я же тебя просила, – тихо плакала мать. – Не приучай его, не сманивай... А ты его одежей да ружьем сманил.

– Да он сам захотел! – рубанул дядя Федор. – Скажи, скажи матери – хочешь в суворовское?

Мне было жалко мать, но я в ту минуту жить не мог без суворовского, к тому же, пока они препирались, я посмотрелся в зеркало и увидел там эдакого сына полка, лихого бойца с плакатов, которыми были оклеены сенцы в колхозной конторе. Если бы мать не плакала, я давно бы уже помчался по деревне, чтобы показаться в форме пацанам и особенно Кольке Смолянину. Все уже и так знали, что я в августе еду учиться в суворовское, а тут бы при виде гимнастерочки, хромачей в гармошку, пилотки и настоящей малопульки вообще ошалели. Я бы немедленно стал командиром во всех играх, у меня бы просили померить форму, дать хотя бы пощелкать затвором, и Илья-глухарь отдал бы весь кисет табаку... Но мать сидела у печи, закрыв лицо фартуком, а дядя Федор любовался мной и снова говорил, что в армии служить – не хвосты быкам крутить и что я выйду в люди после суворовского. Мать не дослушала его, спохватилась и побежала на вечернюю дойку; ей и поплакать-то дома некогда было. А мы пошли во двор, который теперь назывался плац, и стали маршировать. В хромовых сапогах и синих галифе ходить строевым было приятно, и приятно было тянуть носок, и слушать, как стучат твои собственные шаги, особенно по дощатому настилу возле стайки. Пацанов ни звать, ни бежать к ним не пришлось. Они собрались сами и повисли на заборе, разинув рты.

– Ать-два! Ать-два! – командовал дядя Федор. – Выше ногу!

Я маршировал и замирал от удовольствия. Приклад длинноватой винтовки колотился по ноге, набивал синяк, но я терпел и глядел только вперед, как полагается на строевых занятиях.

– А вы чего смотрите? – спросил дядя у мальчишек. – Если пришли – становись в строй!

Пацаны висели на плетне и переглядывались, только Смолянина почему-то не было среди них.

– Ну, смелей, орлы! После строевой пойдем стрелять из винтовки, – пообещал дядя Федор.

Плетень зашатался, ребяташки кубарем сыпанули во двор и пошли за мной, размахивая как попало руками и шлепая босыми ногами.

– Ать-два! Ать-два! Взяли ногу!левой!левой! Ать-два, ать-два!

Потом он вывел нас за ворота и мы потопали за поскотину, в овраг. На середине улицы нам встретился дядя Саша Клейменов. Он отступил в сторону и вытаращил глаза.

– Шире шаг! – прикрикнул дядя. – Ать-два, ать-два!

– Ты чего это, Федор Иванович? – спросил дядя Саша. – Ты что делаешь-то? Ты куда их?

– На огневую, – серьезно сказал он, проходя мимо. Я слышал, как пацаны дышат мне в затылок и кто-то шепчет: «Дай винтовку! Винтовку дай понесу, а?» Я молчал, как положено в строю.

– Илья – домой! – приказал дядя Саша, но Илья не понял его и продолжал топтать замыкающим. Тогда дядя Саша догнал его и выпихнул из строя. – Я кому сказал – домой!

Но Илья что-то замычал, отстал от отца и пристроился в хвост. Дядя Саша остался на дороге – длинный, худой, сутулый, похожий на огромное чучело, и рукава-то болтались очень похоже...

– Эй, Шлем! – запоздало вслед крикнул он. – Ты что, в бога мать, не навоевался? Не накомандовался еще?

Но дядя Федор перекричал его.

– Бего-ом марш! – скомандовал он и тяжело потрусил рядом с нами.

С того дня все мои ровесники в Великанах бежали с утра к нам, приходили и те, что младше, а то и старше, – всем хотелось поиграть в войну, пострелять из винтовки. Только не появлялся Колька Смолянин. Мы забыли про лапту, про погонялу и бабки. Играть в войну

было интереснее даже самой рыбалки, потому что нами командовал настоящий майор. Дядя Федор надевал форму с погонами и португеей, на которой болтался не сданный в милицию «парабеллум» в кобуре, пацаны обряжались в великоватые гимнастерки и пилотки, подпоясывались солдатскими ремнями, и начинались занятия. Мы ползали по-пластунски, рыли окопы, маршировали и ходили в атаки; в завершение спускались в овраг и палили из винтовки в самодельные мишени. Каждый день кто-нибудь из матерей приходил к нам на учебное поле и просил дядю Федора отпустить сына полоть в огороде или таскать воду в баню. Товарищ майор давал увольнительную, хотя увольняемый уходил чуть ли не со слезами. Матери то ли побаивались дядю Федора, то ли стеснялись его. А может, считали, что наш «военобуч» – дело обязательное, как в войну было, потому и просили робко, как чужое. Дядя Федор же на учениях словно помолодел, и у него ни разу не заболела голова. Он водил нас в атаки, размахивая пистолетом, и бегал как лось. В поношенной линялой гимнастерке, в настоящей каске со звездой он был таким настоящим и красивым майором, таким лихим комбатом, что идти за ним в атаку было легко, весело и как-то даже торжественно, от чего дух спирало. Я напрочь забывал тот страшный сон про войну и мчался с малопулькой наперевес, обгоняя пацанов с деревянными автоматами. И ничуть не сомневался, что, окажись перед нами враг, мы бы смели его, вышибли из всех траншей и окопов, и тогда бы застрочили деревяшки и деревянные болванки-гранаты завзрывались бы, потому что впереди был настоящий командир.

– Батальо-о-он! В атаку, за мно-ой! – кричал товарищ майор, первым вставал, вскинув пистолет, и на лице его была какая-то решительность и страсть, которую можно было заметить лишь в это мгновение. Я даже не узнавал его, забывал, что он мой дядя – дядя Федор и что впереди не березовые пни с черными шляпками, а фашисты в касках. Однажды, когда мы «выбивали» немцев с берега Божьего озера, из молодых березняков вдруг вышла тетя Варя с топором. Получилось так, что мы идем в атаку на нее, и тогда товарищ майор скомандовал лечь и окопаться. Мы упали между пней и стали рыть палками землю. Тетя Варя подошла к дяде Федору и погладила вздыбленный погон на его плече.

– Ты уж сильно-то их не мучай, – попросила она. – Пускай отдохнут...

– Тяжело в ученье – легко в бою, – жестко сказал дядя Федор. – Пускай привыкают.

Тетя Варя вздохнула, поджала губы. Я думал, что дядя Федор скажет ей, что война давно кончилась, но и он обманывал тетю Варю. А она загоревала:

– Так-то оно так... Да больно малые еще... Неужто теперь и таких берут?

Она спустилась к воде, села на валежину и стала бросать камешки. Вода была тихая, цвел орех-рогульник, и круги от камешков путались и разбивались об эти цветы.

А товарищ майор вдруг дал отбой, велел мне построить отряд и вести в деревню. В тот день нас было десять человек, но мы считались батальоном. Поэтому я скомандовал: «Батальон! Стройся!» – и повел ребятишек в Великаны. Мы шли как настоящие бойцы из боя – с песней. Песня казалась боевой и красивой.

– Каждый воин – парень бравый! – орали мы. – Смотрит соколом в строю! Породни-роднились мы со славой, славу добыли в бою!

Дядя Федор отставал, брел за нами, болтая каской, словно котелком, а потом и вовсе пропал из виду. Мы вышли к поскотине и тут увидели Кольку Смолянина. Батальон без команды оборвал песню и остановился. И я тоже остановился. Колька почему-то был невеселый и молчал. Он подошел ближе, осмотрел воинство и, свернув сигарку, закурил. Табаку не просил, вынул из кармана целую пачку своего. Вдруг он шагнул ко мне и стал тянуть с меня винтовку. Я ухватился за нее и попытался вырваться, но Колька закрутил ружейным ремнем мое плечо, вывернул руку до искр в глазах.

– Я тебе покажу кордебалет! – белея глазами, крикнул он. – Я тебе дам суворовское!

Но тут же отпустил меня, запнул в кусты пилотку, упавшую с головы, и, не оглядываясь, пошел вдоль поскотины. Я чуть не плакал от боли в плече и обиды. Пацаны стояли молча и смотрели Кольке вслед. В это время нас догнал дядя Федор.

– Становись! – скомандовал он. – Шагом марш! Запевай!

Мы построились и пошли, но петь никому не хотелось.

– Запевай! – сердито повторил дядя Федор. Батальон запел, но так жидко, что сквозь пение было слышно, как мычит Илья-глухарь. Он тоже всегда пел с нами, широко разевая рот, но только по-своему.

Потом я узнал, отчего так неистовствовал и злился Колька Смолянин. В тот день какие-то проезжие мужики позвали Любку-дурочку, усадили на телегу и куда-то увезли. Сначала ее ждали, думали, что вернется, затем родители ее, немцы, ездили в соседние деревни – Полонянку, Гуськово, Рошино и Чистые Колодцы, спрашивали, но Любка исчезла без следа.

Только вот непонятно было, отчего так переживал Колька. Ведь и жениться на ней не хотел...

В середине августа настал тот день, когда меня стали собирать в суворовское. Мать не плакала сначала, но часто-часто моргала, когда утром кормила меня и когда потом складывала в сидорок белье.

– Надо бы проводины сделать, – словно пожаловалась она дяде Федору, но тот ответил круто:

– Не на фронт провожаешь – учиться!

Он обрядил меня в форму, обрядился сам, только снял погоны с гимнастерки, и посадил в коляску мотоцикла. Расформированный батальон с утра висел на плетне и грустно смотрел на сборы. А Кольки Смолянина опять не было...

Мать заплакала, когда дядя Федор заводил мотоцикл. Она стиснула мою голову, прижала к груди так, что я чуть не задохнулся, но мне не хотелось выворачиваться из ее рук, чтобы хватить воздуха. Я едва дышал носом и остро чувствовал полузабытый запах материнного молока и ее тепло, которое медленно превращалось в жар и палило лицо. Потом я много раз уезжал из дома и прощался с матерью, но больше никогда не ощущал и не вспоминал этого состояния. Как все военные дети, я почти до трех лет сосал грудь и поэтому хорошо помнил это и помнил вкус молока. Но то было не просто ощущение вкуса, как, например, вкус хлеба или вкус коровьего молока; я чувствовал, что в меня входит тугая струя тепла и света и я весь согреваюсь и наполняюсь этим теплом и светом и еще каким-то ликующим состоянием, которое вовсе нельзя назвать грубым словом – сытость. Я хорошо помнил свое отношение в ту пору к материной груди: казалось, что это часть меня самого, что я не могу жить без этого источника, равно как не мог бы жить без головы или туловища. И я всегда ревниво смотрел на материну грудь, готов был защищать ее и защищал, если мать, балуясь и дразня, подносила к ней другого ребенка и даже брала его на руки.

И вот, прощаясь в тот первый раз с матерью, я на мгновение ощутил толчок и вспомнил то состояние. И почувствовал на мгновение горячую и светлую струю, ее жар, согревающий лицо. Мне не хотелось, чтобы прервалось это чувство, но было поздно: немецкий мотоцикл зарычал, выбрасывая струи дыма, и оторвал от матери...

По дороге в райцентр, когда все опять ушло в полузабытье и когда я стал замечать незнакомые леса, поля и деревушки, когда мир расширился перед глазами и посветлел, то и дым из выхлопушек показался вкусным и каким-то желанным. Я впервые ехал так далеко от дома, по местам неведомым и таинственным. А дядя Федор гнал мотоцикл с такой скоростью, что встречный ветер откидывал каску на затылок и ее ремешок брал за горло чуть выше угловатого кадыка.

В райцентре мы подрулили к военкомату, и нас встретил такой же бравый, как дядя, майор. Они козырнули друг другу, и я тоже козырнул, как был учен, однако дядя сердито заметил:

– К пустой голове руку не прикладывают! Где пилотка?

Я надел пилотку и еще раз отдал честь.

– Во какого солдата привез! – обрадовался майор и пожал мне руку. – Хоть в гвардию!

Потом они с дядей сидели в кабинете и, склонившись друг к другу, разговаривали. Дядя Федор все о чем-то просил и становился печальным. Майор же часто и виновато говорил одну фразу:

– Из министерства отказ, понимаешь? Медицина, брат...

– А самому Жукову? А если самому Жукову? – с надеждой спрашивал дядя.

Тем временем я ходил вдоль стен, рассматривал черно-белые плакаты-фотографии и читал подписи под ними. Здесь я впервые увидел, что такое атомный взрыв. На черно-белой фотографии он выглядел вовсе не страшно, наоборот, эффектно и даже красиво – эдакий черно-белый гриб, от которого несется белый ветер и сдувает деревья, малюсенькие танки и домики. А дальше ничего не рушится, только из окон многоэтажных домов валит черно-белый огонь и еще дальше совсем мирная картина – даже люди ходят и коровы на лугах пасутся. К тому же на соседних картинках были показаны всякие способы, как спастись от атома. Можно вырыть щель или залезть в погреб; если ты живешь в городе, то в подвал или бомбоубежище, а там крутить ручку, чтоб шел хороший воздух. Но самое главное – есть противогазы, в которых люди, коровы и даже лошади были на картинках, есть носилки, чтоб носить раненых, и балახоны, похожие на пастушки дождевики. Там было много всякого, и я все сразу понял, кроме одного: солдаты, увидев атомный взрыв, ложились на землю ногами от него и подкладывали под себя автоматы. Причем на отдельных карточках было показано, как их подкладывать.

– Ну что, гвардеец, изучил? – спросил меня майор.

– Так точно, – сказал я.

Дядя с майором тоже постояли возле плакатов, поглядели, но не внимательно, а так, чтоб куда-то смотреть. Майор покачался с пятки на носок, поскрипел своими хромочами и вздохнул:

– Вот так, брат Федор. Против медицины, как против ядерного взрыва, – не попрешь.

– Значит, волчий билет? – угрюмо спросил дядя Федор.

– Почему волчий? Белый... Отслужился, гвардеец.

Меня что-то кольнуло, и показалось, речь идет обо мне. Будто меня не берут в суворовское! Я схватил дядю за руку – рука была вялая и холодная.

– Дядь Федь?.. Что, дядь Федь? Не берут?

– Тебя возьмем! – засмеялся майор. – Тебя – с руками и ногами! За дядю служить пойдешь! А сейчас, Федор Иванович, бери направление и на медкомиссию. Веди, а то опоздаете... Там призывники приписываются, так вы без очереди...

Дядя Федор стоял и тоже качался с пятки на носок...

– Вопросы есть? – спросил майор.

– Есть, – признался я. – А зачем они автоматы под себя подкладывают?

– Зачем? – Майор грустно усмехнулся и поглядел на атомный взрыв. – Затем, чтобы не расплавились.

Я так ничего и не понял, но переспросить не успел.

– Иди, Федор, иди. – Майор сунул бумагу дяде, подтолкнул к двери. – После медкомиссии – ко мне. Все!

Дядя Федор вдруг выматерился, схватил меня за руку и потащил на улицу. И рука у него сразу стала горячая и жилистая, будто налитая огнем.

Медкомиссия проходила в стареньком клубе, возле которого сидели и стояли парни, а один очень уж хорошо играл: на гармошке. Мы прошли сквозь толпу и столкнулись с мужиком в белом халате.

– А! – радостно сказал он и крепко поздоровался с дядей. – Еще раз счастья попытать заглянул?

– Пускай он счастье пытается, – мрачно пробурчал дядя и подтолкнул меня вперед. – Отпытался я...

– Куда же ты такого махонького! – засмеялся врач. – Пускай подрастет, каши поест...

– В суворовское! – отрубил дядя. – Племянш мой.

– Это хорошо! – одобрил тот. – Пускай идет раздевается, посмотрим... Только худоват он...

– Зато жила крепкая!

Дядя привел меня в комнату, где раздевались и одевались парни, тоже веселые и дурашливые, приказал раздеться. Я стянул гимнастерку, сапоги, галифе; дядя ворчал:

– Все им не так, все им не угодишь – худоватые, глуховатые... А где хороших-то взять после такой войны? Медицина, мать ее... Снимай трусы!

Я схватился за трусы и прижался к стене. Тут еще какой-то парень засмеялся, закричал:

– Мужики! Гляньте, какого шкета привели! Ой, помру! Ой, смехотура!

И все заржали, как жеребцы, хотя сами были тощие и мосластые.

– Молчать! – гаркнул дядя, и все замолчали, а мне: – Трусы долой.

Только сейчас, прижавшись к стене, к холодной и незнакомой стене, среди незнакомых мне людей, которые непонятно зачем раздевались, одевались и отчего дурачились, я осознал, что теряю волю. Это уже была не игра в войну, и не дядя командовал мной, а другие, чужие люди в белых халатах. И отныне теперь так будет всегда... Скорее, до конца этого я не понимал, но предчувствовал, и мне становилось холодно.

– Степан? – недоуменно спросил дядя. – Ты чего? На комиссию надо в чем мать родила... Снимай, не стесняйся. Я знаешь сколько без штанов у них бегал...

– Да у него и письки-то еще нету! – подпустил какой-то рыжий парень, и все снова засмеялись.

Мне вовсе не было стыдно. Тогда я еще не понимал, что это не страх, что это противится моя душа, поскольку сама медкомиссия была неестественной в тот миг – я не болел, и никто из хохочущих парней не болел. И все мы были в равном положении. Только я от неестественности жался к стене, а они старались скрыть ее в дурашливости и смехе.

У дяди Федора лопнуло терпение. Он схватил меня поперек, сдернул трусы и потащил в комнату через коридор. Там поставил на ноги, и я увидел человек пять в белом. Все они смотрели на нас и весело здоровались с дядей.

– Сам не идет, что ли? – спросил тот, что встретился нам в дверях.

– Да кто к вам сам-то ходит? – сердито ответил дядя. – Сидите, заседаете тут... Сенат английский!

Доктора засмеялись, сказали дяде присесть, а меня повели от одного стола к другому. Меня ощупывали, разглядывали, мяли суставы, заглядывали в рот, отстукивали и прикладывали холодные стальные трубки, будто не в суворовское брали, а бычка на базаре торговали. Наконец положили на кушетку и стали водить по животу и ступням чем-то острым и холодным. Я съежился в комок.

– Ну-ка, ну-ка! – вдруг заметил один из докторов, сидящий в стороне, и стал шупать мои ноги, переглядываясь с другими. Потом заставил намочить ступни в воде и пройти по крашеному полу. Я макнул ноги в таз и прошел по холодным половицам. Они сошлись у моих следов, а дядя ожил и насторожился. Доктора смущенно переглянулись и разошлись по своим столам. Пауза затянулась, и дядя Федор не выдержал:

– Вы чего это?..

Я понял, вернее, опять почувствовал, что мужики в халатах боятся дядю, а у меня что-то нашли.

– У него плоскостопие, Федор Иванович, – вздохнул мужик, что встретился в дверях. – В мирное время не годен...

Все, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю как кошмарный сон, хотя многое уже в полузабытии. Пожалуй, с того же момента слово «медкомиссия» вызывало во мне чувство, будто к голому теплему телу прикасаются чем-то стальным, круглым и холодным.

Дядя Федор метался по комнате, хватал за грудки медиков, трещали белые халаты, грохотали падающие столы, звенели стеклянные приборы, а я жался к стене и стискивал в руках откуда-то взявшуюся ложку, которой прижимают язык, чтобы заглянуть в горло. Они все были одетые – я в чем мать родила.

Помню, как от порога вдоль всей комнаты метательным диском летел таз с водой, где я мочил ноги. Он вращался в полете так, что брызги веером срывались с краев и прошивали пыльные столпы света из окон. Помню, как врачи увертывались от таза и шарахались к стенам. Таз обо что-то ударился, когда мы были в коридоре. А еще над всем этим стоял невообразимый дядин мат, какого я с тех пор больше никогда не слышал.

Потом дядя тянул меня на улицу из старого клуба, но я упирался, поскольку был голый. Призывники стояли, прильнув к стенам, и лицами сливались с ними. Галифе я надел уже на крыльце, гимнастерку – возле магазина на другой улице, а сапоги в коляске мотоцикла. Пилотка моя и вовсе где-то утерялась...

Но сквозь все это я ощутил возвращение воли – теплое и светлое чувство, как от материнского молока. И вместе с тем щемило и притрагивалось ко мне чувство утраты: мне никогда не быть суворовцем, не носить черной шинели с красными погонами, не дудеть в трубу, как они дудели на плакатах в сенцах колхозной конторы. Мне хотелось одновременно и плакать, и смеяться. И как потом оказалось, чувства эти настолько дружны и естественны, что живут в человеке всю его жизнь.

Дядя гнал мотоцикл – гимнастерка заворачивалась. Его каска бренчала и каталась у меня под ногами, словно ореховая скорлупа, а слипшиеся от пота дядины волосы никак не могли просохнуть на горячем встречном ветру. В одном месте он остановился, сел в дорожную пыль.

– На тебя вся надежда была, – глухо сказал он. – Вся моя надежда. А нас – в белобилетники, так их разэтак...

Где-то впереди ныла и бренчала расшатанными бортами машина, и пыль от нее столбом тянулась в небо, закручиваясь там в гриб, как у атомного взрыва. Дядя вдруг схватил меня за ухо, дернул до треска в голове.

– Плоскостопие у него! А босиком не бегай! Расшлепал ноги-то! Балбес!

Я думал как раз о том, что обрадуется мать, и нисколько на дядю не обиделся, даже весело стало.

– Так сапоги только в школу!

Он махнул рукой, сел на мотоцикл и поехал тихо, задумываясь и стекленея взглядом. А я в тот момент подумал, как насыдут на меня теперь великановские пацаны и будут долго дразнить плоскостопым. По крайней мере прозвище мне обеспечено. У нас любили давать прозвища и посмеяться любили, поэтому мне хотелось плакать...

Избавлению от службы мать почему-то не шибко обрадовалась. Я сидел и ел молоко с хлебом, а она, подпершись рукой, тихо говорила, будто сама себе: дядя слышать не мог.

– Вот, думала, и пристроила сыночка... В люди выйдет, не то что в назyme-то жить. Там, и правда, одежда казенная, питание хорошее. Только чтоб войны не было...

Дядя наверняка не слышал и тоже говорил сам себе. Он скрипел половицами и бесцельно совался в углы.

– Весь в батю родимого!.. Толстопый... И вся ихняя порода такая, толстопая.

И опять от его слов веяло какой-то тревогой и непонятным страхом, который бывает, когда бежишь через темные сени в светлую избу. Идти играть не хотелось, я оттягивал минуту, когда пацаны начнут спрашивать: все уже знали, что я вернулся в Великаны. Поэтому я ушел за баню и лег на горячий песок завалинки, рядом с сонным и безразличным Басмачом. Между баней и плетнем, на залоге, уже чернел зрелый паслен – ягода кисловатая и одновременно приторно-сладкая, как сама жизнь. Я рассматривал свои ступни, выворачивал их, мял и не мог понять, где медкомиссия усмотрела плоскость. Ноги как ноги – у всех такие же. И если даже ступни плоские, то в чем же беда? Наоборот, на земле можно крепче стоять! К тому же офицеры все равно только в сапогах ходят, но подошвы-то у сапог уж точно все одинаково плоские!

Вдруг я услышал тихий свист из-за плетня и чья-то тень достала бани. За плетнем стоял дядя Лень и улыбался.

– Ну и как? – спросил он. – Взяли тебя на суворовца учиться?

Я подошел с другой стороны плетня и притулился спиной.

– Дядя Лень, по секрету, – сказал я. – У меня какое-то плоскостопие нашли. Только ты никому...

– Тогда и я по секрету: у меня тоже плоскостопие. Так что мы родня.

Он огляделся и перепрыгнул плетень.

– Так что мы с тобой в военное время только годимся, понял? Можно я твоего паслена поем?

Я пожал плечами, а дядя Лень упал на колени и стал есть ягоду. Он рвал по-воровски торопливо, сыпал в рот и жмурился.

– Говорят, она лечебная. От всяких болезней. Только в меру есть надо, а то отравиться можно... Ну а что в районе-то видал, расскажи? Народу, поди!..

У него была странная привычка пробовать на вкус все травы, ягоды и, если понравится, есть даже несъедобное. Присев где-нибудь, он тут же срывал травинку, цветок или вовсе лист с дерева, кору, молодой побег, толкал в рот, незаметно жевал и, случалось, плевался потом целый час. Но чаще проглатывал и рвал еще. На моих глазах он ел волчью ягоду, чемерицу и вёх – это из ядовитых, что я знал.

– Если горькая – значит, лечебная, – объяснил он. – Все лекарство в горечи. К примеру, осина: дерево хоть и дурное, а зайцы грызут и не болеют. Значит, польза есть.

Он наелся паслена, раздавил одну ягоду и посмотрел, что внутри.

– Я тоже в район собираюсь... К брату съездить надо, ты брата моего знаешь? Степана Петровича?

Брат дяди Лени бывал у нас несколько раз, но очень давно, так что помнил я его смутно, как во сне. Говорят, он когда-то жил в Великанах, но после войны уехал вместе с семьей, необычно многодетной даже для нашей деревни. Первый его сын был ровесником дяди Лени, а последний – года на три всего старше меня. Вот их-то я знал, поскольку они подолгу жили на Божьем озере в кордонной избе дяди Лени.

– Слышал, будто Степан-то назад в Великаны собирается, – сказал дядя Лень. – Узнать надо и отговорить. Что ему в районе не живется?.. Кстати, на, держи!

Он сунул мне в руки скомканный резиновый шар со свистком и перемахнул через плетень.

– Ты особенно-то не расстраивайся... Я всю жизнь с плоскостопием хожу – ничего. Штука известная, подумаешь!.. Ты приходи ко мне на Божье, порыбачим, а я тебе чего-нибудь такое расскажу... Шлем-то теперь не станет, поди, под ружьем гонять? Какой толк? Только в военное время...

Мне и в самом деле уже не хотелось ходить под ружьем, лучше бы на рыбалку, за грибами подберезовиками, которых так много было на Божьем, хотя березы давно спилили. Однако я боялся спросить у дяди, что будет завтра, и загадал: если он сыграет подъем, значит, снова начнется военобуч.

Но подъем сыграли дяде Федору. Рано утром к нам подъехал милицейский «воронок», откуда выбрался худой и синий, как шинель, начальник милиции. Он разбудил дядю и сел с ним курить на крыльцо. Видно, обоим разговаривать не хотелось, и они пускали синий дым, который долго курился и реял в неподвижном воздухе, пронизанный солнечными лучами. Наконец начальник милиции сказал:

– Сдавай оружие, Федор Иваныч. Хватит, навоевались.

Дядя скрючил босые ноги.

– Зацепишь кого ненароком, или пацанва стырит. Наделают делов...

– погоди! – оживился дядя Федор. – Возьми к себе на работу?

Начальник милиции приобнял его, вздохнул:

– На свое место, что ли, Федор? Майорская-то должность одна. А ниже сам не захочешь.

– Ниже не захочу. – Он подошел к мотоциклу и вытащил из коляски сиденье. – Забирай.

Между пружин возле задней стенки сиденья оказалось четыре пистолета и короткоствольный револьвер. Начальник милиции пересмотрел их, пощелкал курками, а дядя тем временем принес мешочек патронов килограмма на четыре.

– Хорошая коллекция, – сказал начальник.

– Оставь этот? – попросил дядя и поднял в руке большой и новенький пистолет. – Или возьми себе. Ты таких не видал. Английский, «кольт-автоматик». Дарю! А то в переплавку... Жалко.

– Спасибо. – Начальник положил «кольт» в карман, остальные сунул в полевую сумку. – Будешь в райцентре – заходи.

Дядя Федор ничего не ответил и даже не встал, чтоб проводить. Когда «воронок» упылил, дядя умылся в кадке, стоящей под водосточным желобом, и босой, безременный вышел на середину улицы и подался в сторону кладбища. Шел он покачиваясь, сутуля спину и задевая болтающимися руками «бутылки» галифе. Распушенная, вылинявшая гимнастерка делала его похожим на военнопленного, которых показывали в кино.

Вернувшись с дойки мать заставила сейчас же разыскать дядю Федора и на шаг от него не отходить, чтоб с собой ничего не сделал. Я нашел его на кладбище возле могилы отца. Подкрадываться к нему было хорошо, он не слышал шагов...

Впервые я увидел, как он плачет – тихо, без всхлипов, только слезы вытирает.

– Паш, ты на нее не сердись, – говорил дядя Федор. – Она ведь не знала... Тебя же убили, вот она и... А как бы ей теперь, Паш? Подумать страшно. Все из-за войны... Ты там лежи спокойно, не обижайся. Нам, думаешь, здесь легко?.. Ох, Паша, нелегко. Я из-за этой войны генералом не стал...

Ему, наверное, казалось, что он говорит шепотом...

3. Орех

В сорок третьем году в Великанах случился голод, которого не помнили здесь ровно двадцать лет. То был последний голод в наших краях, а может, и во всей России голодовали тогда в последний раз.

До войны Великаны и Полонянка считались колхозами, хотя и тогда уже готовили и сплавляли лес. Но уже в сорок первом сделали леспромхоз, один на две деревни. Понять теперь, кто где работал, стало невозможно. Все пахали, все зимой лес рубили, который вязали в маты, с половодьем гоняли в запань – и спешили к посевной. А командовал тогда колхозной, лесной и сплавной работой один человек – брат дяди Лени, Степан Петрович Христолюбов, по возрасту не взятый на фронт.

Хоть и работали много, но всю войну жили впроголодь, тянулись от урожая до урожая; зимой ждали весны – крапива пойдет, лебеда, пучки, саранки, а березового сока так вообще хоть запейся. Ребятня с Божьего, где готовили ружболванку, не вылезала. Когда березу свалят, раскряжуют и расколют на болванку, ребятишки уже здесь, с ножиками – болонь скоблить. Болонь – тонюсенький слой мякоти под корой, и если ее соскоблить во время сокохода, она вкуснее манной каши и слаще сахара. Потом скобленную ружболванку приемщики сразу определяли: так она высыхает молочно-белой, а скобленая чернеет. Но крепости все равно не теряет.

А летом ждали осени, вернее, кормилицу военную – картошку. Ну и хлебушка, конечно, какой от госпоставки останется.

И вот в сорок третьем от бесконечных летних дождей картошка выросла чуть крупнее гороха, да и та в земле погнила. Ботва в человеческий рост выдурила – копать нечего. Заработанный на трудодни хлеб бабы в подолах принесли. Осенью после первых морозов Степан Петрович Христолюбов собрал бригаду из самых крепких по тому времени стариков, послал на охоту, бить лосей, медведей, оленей – все, что на пути попадет. Но и зверь-то от бескормицы подался в другие края. Лоси, правда, были, но где их старикам-то добыть? За ними и бегать надо по-лосиному, иначе с тех ружьишек-то не достанешь. Настреляли старики по десятку тетеревов да рябчиков, с тем и вернулись. Была еще надежда на рыбу, но, видно, в природе так все крепко связано, что и рыбачить нечего оказалось. Зима выдалась ранняя, лютая, Божье озеро так взяло льдом, так сковало – ни одной отдушины, и начался замор, штука редкая для наших мест. Когда старики пошли сети ставить и лишь первую лунку выдолбили – пахло, словно из болота. Сначала обрадовались – повезло! Рыба сейчас сама на лед прыгать станет от удушья. Расширили прорубь, посидели час-другой, и даже щуренка не вылезло. Загоревали, все-таки утопили на дно сети, в надежде хоть карася на уху поймать, а вынули разве что с ведро ореха-рогульника, накрепко спутавшего снасть.

Здесь кто-то и вспомнил, что орех этот едят, что раньше за милую душу уплетали, когда в двадцать третьем голод был, и что ореха этого – видимо-невидимо. Наладили жерди с куделью и давай через прорубь по дну шарить. Их в Великанах с рыбой ждали; они несколько мешков рогульника на саночках привезли.

Как бы там ни схватывалась льдом жизнь, как бы ни замирала, задыхаясь, но все равно остается спасительный родничок. Только найти его бывает нелегко. Дядя Леня не сочинял, когда рассказывал, что великаны орехом спасались...

С той поры народ с озера не уходил: днем ли, ночью – обязательно кто-нибудь есть, костры горят, черные фигуры на снегу темнеют. Тяжко было только проруби долбить, но потом наловчились – прожигали огнем, раскаленными камнями, железяками. Лишь бы воды достать. Потом пропускали веревку, обмотанную куделей, и как неводом протягивали по дну. Так с

января и до первой травы. Когда лед таять начал, посинел и вспух, то стал на решето походить – так его издырявили. А все следы, оставленные на снегу, вспучились и еще долго не таяли.

Орех несли мешками, чистили, варили, как картошку, ели сырой, сушили в русских печах, пробовали молоть, печь драники, заваривали кулагой, жарили и калили. Ели, спасались от голода и с удивлением вспоминали, как материли этот рогульник в сытое мирное время, когда в сеть попадал и собирал ее на себя. Для ребятишек и вовсе беда была: сухой он, как барашки от колючей проволоки, босой ногой наступишь – месяц не заживает, хуже стекла.

Раньше и о названии озера не задумывались, само собой считалось, реже кто вспоминал, что великаны жили. Но тогда, в сорок третьем, эту загадку раскусили как орех – вот почему оно Божье! А набожные старухи начали припоминать и стягивать все в кучу, словно сеть рогульник, – и то, что грозы над озером особенные, гром гремит до звона в ушах, бывало, в кордонной избе стекла вылетали, и то, что лес на берегах белый, чистый, божественный, да и само озеро как Богом создано: место кругом высокое, берега крутые. Кто же мог в материке такую глубокую да большую яму выкопать? Господи, а птицы-то как поют там! Начинают часов с трех ночи и до утра; иные до полудня не смолкают. Если в это время ходить по белому лесу, так ног под собой не чуешь – так тебя от земли поднимает. И травы не мнутся...

Так вот и пережили страшный голод в Великанах и Полонянке. Однако настоящее чудо еще было впереди.

Беззубые, шамкающие старики, по несколько лет с печей не слезавшие, повывлазили весной на улицу, что-то во дворах топорами затюкали, в огороде заковырялись. Их уж хоронить собирались, да и сами они не чаяли свежей земли да открытой воды увидеть, а вот на тебе – выжили! Да еще словно помолодели! А те, что до голодной зимы кряхтели, стонали, но, тужась, еще в лесу работали, так вообще бугаями заходили. Не сказать, сытые стали, справные, но откуда-то сила взялась, удаль, и глаза заблестели, и голоса окрепли. Сорокалетние бабы, мужиков своих на фронт проводившие и многие уже похоронками меченные, чуть на работу в поле или в лес – визжат, смеются, как девки. Стороннему человеку и смотреть совестно. Если бы кто один из двух деревень помолодел, то, пожалуй, заметно бы стало, но когда все, причем незаметно и разом, – только для стороннего глаза и видно. Целый день в лесу с лучковой пилой, с топорами да клиньями: раздобревшую от сока, крученую березу колоть – не шутка, и болванку на себе вытаскивать до штабелей – тоже. И ладно бы кормежка хорошая была. А то ведь хлеба с ладошку, чугунок пареного ореха да редко сала кусочек, да чтобы после всего кучи-малы устраивать, на перекурах в жмурки играть и хохотать до колик в животе – где это видано?

Можно было свалить все на весну, на радость, что голод одолели, что сводки с фронта получше стали, а кое-где немцев вообще назад поперли и, слышно, пленных на лесоповалы привозят, но весна прошла, лето на закат потянуло – в Великанах живут, как в первые военные годы не жили. Игрище в березняке вновь растоптали, вечерами, слышно, гармошка наяривает, девчонки-подлетьши, парнишки-призывники вместе с бабами, а то и старушками присядку откаблучивают. Только вот мужиков маловато. К сорок третьему моложе, чем за полсотни лет, уже не было. Бывшие кулаки, которых по этой причине на фронт не взяли, да волжские немцы, переселенные в северные края, в счет не шли. Они старались тихо жить, своей кучкой – может, вину за собой чувствовали?

Чем дальше, тем пуще. Осенью того же сорок третьего две свадьбы в Великанах сыграли да две – в Полонянке. В нашей-то деревне еще туда-сюда, одна пара совсем молодая была, другая сносная: женился пятидесятилетний мужик Кислицын на вдове-солдатке, бабе под сорок с тремя ребятишками. А вот в Полонянке еще чуднее вышло. Там старик Тятин женился и взял старуху за шестьдесят. Люди, конечно, посмеялись, дескать, война идет, время тяжкое, а старики с ума посходили. Однако смех и грех впереди был. Через девять месяцев Тятиха родила сына. И это уж никак нельзя было списать на весну, на радость от пережитого голода и даже на хорошие вести с фронта.

Говорят, старик Тятин ходил по деревне гоголем, когда по старым временам ему бы стесняться народа, стыдиться на глаза людям лишний раз попадаться. Хоть и невелик грех, но не принято как-то, о душе время думать, внуков женить. Тятин же у Степана Петровича коня выпросил, посадил жену с младенцем и повез за сорок верст в церковь, крестить. Да еще, говорят, по дороге песни орал, встречных останавливал и хвастался. Тогда-то и хватились в Великанах: что же это с людьми делается? Виданное ли дело – старуха родила? Ворчали на молодёжь, конечно, мол, старости бы постыдились. А ну помрете – куда дитя девать?

– Не помрем! – говорил Тятин. – Мы со старухой по-стахановски, еще родим! Раз молодых-то на фронте повыбили – население прирастать должно. Да и кто нас докармливать станет?

Еще они не родили, но поскребыш тятинский докармливал своих родителей.

Так и отнесли эти события голодного сорок третьего к чудодейственности ореха-рогульника. После войны жизнь в деревнях наладилась, мужики с фронта пришли, и привыкшие к ореху люди стали постепенно отвыкать от него. Зачем он, когда хлеба вдоволь, когда и мясо, и картошка и налоги не шибко большие? В начале пятидесятых его ели уже в охотку, когда рыбачили на Божьем, или по нужде – вдруг какая беременная баба запросит либо помирающая старуха. Фронтвики, так те вообще его в рот не брали, потому что к ореху все-таки привычка нужна. Пробовали постный, безвкусный рогульник и вспоминали. Да и память о нем была такой же постной и безвкусной. Ну случалось, ели, было и былём поросло. Так уж, видно, устроено в природе: поскорее забывать, зализывать раны, затягивать ямы дерном, пустошь – молодым лесом.

Когда я еще был мальчишкой, об орехе в Великанах рассказывали. Помню, однажды дядя Леня на рыбалке говорил и смеялся:

– Ты, Степан, еще молодой и ничего не понимаешь. А рогульник силу дает и мужикам, и бабам. Дело проверенное!

Тогда я еще жалел, что не попал в суворовское, и грустно думал: вот бы он еще от плоскостопия помогал! Но орех от плоскостопия не годился, как заверил дядя Леня, поэтому интерес к нему пропал. Мы его опять костерили на чем белый свет стоял, поскольку он разросся по озеру еще сильнее, путал наши худоватые сети, выплескивался волнами на берега, где засыхал и где потом босым не пройти.

Наверное, и совсем бы забыли в округе о чудодействе рогульника, но в начале шестидесятых, когда я уже учился в лесотехникуме, к дяде Лене Христолюбову заехал человек из города по фамилии Чернобай, с товарищами. Был он гостем нешуточным в наших краях, никогда не виданным: несмотря на свои тридцать лет, Чернобай имел звание доктора наук. Приехал он неофициально, просто порыбачить на зимнюю удочку. Где-то прослышал о Божьем озере, о том, что окунь берет такой – в лунку не протянешь. Говорят, этому доктору ничего не стоило слетать, например, в другой конец страны на рыбалку, если надежный человек посоветует. Так вот, дядя Леня привел Чернобая с товарищами на Божье, показал, где летом чаще всего окунь держится, а сам назад, домой, потому что хоть и падок был он на новых людей, хоть и любил порассказывать, но терпения высидеть на морозе часов десять кряду не хватало. Зимнюю рыбалку на удочку он и за рыбалку не считал. Развлечение для городских, для ученых, и то каких-то помешанных. Поймают два десятка окуней и рады без памяти, а уж разговоров – на месяц. Доктора-то он не первого на Божье водил.

Чернобай был человеком обходительным, вежливым и тихим каким-то, что сроду не скажешь – и не подумаешь! – доктор. К тому же, заметил дядя Леня, простой он был, свойский какой-то и не брезгливый. Потом, когда он приехал второй, третий раз, дяде Лене случалось с ним из одной посуды и спирту выпить, и ухи одной ложкой похлевать. Другой-то и не доктор, а глядишь – морду воротит от деревенской жизни: там не чисто помыто, там муха сидела, там

и вовсе грязь. Хлеб на землю уронит, так пнет его, мол, грязный уже, несъедобный. А разве земля грязная?

Этот же не брезговал, даже как-то тихо и счастливо радовался простоте жизни, простоте отношений, крепкому морозу, сильной грозе, если летом приезжал, хорошему сну на русской печи. А своим товарищам строго-настрого наказывал, пока на рыбалке, о науке ни слова не говорить. Но поскольку сам он да и его товарищи ничего, кроме науки, не знали и не ведали, то разговор по вечерам не клеился даже и за спиртом-ректификатом, который привозили учены в самодельной фляжке из нержавейки. Зато у дяди Лени рот не закрывался. Он говорит – они слушают. Посидят так, выпьют и, разморенные теплом после мороза, скорее спать. Еще в первые приезды дядя Леня заметил, что товарищи очень уж заботливо обхаживают доктора: и лунку ему самую добычливую будто невзначай уступят, и место на печи самое теплое. И здесь не то чтобы они его как начальника почитали, может, даже ублажали и подхалимничали, а относились к нему по-человечески бережно и уважительно. Видно, крупный ученый, решил дядя Леня и думал так, пока не увидел в этом какую-то жалость, даже сострадание к нему товарищей его. Увидеть-то увидел, но подумал, что так у их брата-ученого заведено, и успокоился.

Но однажды доктор приехал в феврале, причем один и отчего-то невеселый. Попросил лыжи и ушел на озеро со снастями и фляжкой в рыбацком бауле. На уговоры дяди Лени пойти с утра только рукой махнул и подался, забыв даже воду из радиатора слить. Хорошо, жена дяди Лени, тетка Маруся, заметила и слила. А дядя Леня ждал-ждал доктора до самой ночи, забеспокоился, встал на лыжи и тоже пошел на озеро узнать, в чем дело. В ту пору на Божьем одна только тетя Варя жила, в кордонной избе каждую зиму метлы вязала. Дядя Леня пришел к ней, а доктора нет и даже погреться не заходил. Совсем тревожно стало, но чтобы тетю Варю лишний раз не волновать, дядя Леня виду не показал и пошел на озеро искать Чернобай. А ночь выдалась темная да с поземкой, едва только через два часа наткнулся, и то случайно. Доктор сидел над лункой, и зуб на зуб не попадал, хотя фляга рядом лежала.

– А что, Алексей Петрович, – спросил Чернобай, – глубоко здесь под нами или нет?

Дядя Леня удивился такому вопросу: ему ли не знать, сколько здесь глубины, если второй год лед на озере сверлит?

– Двое вожжей, – ответил. – Глубоковато... Ты замерз, поди. Айда-ка домой!

Доктор послушался, смотал удочку, и дядя Леня заметил, что на крючке и наживки-то нет и лунка нечищена. Когда пришли домой, тетя Маруся им огненного борща налила, сала нарезала, квашенной в вилках капусты поставила – все то, что любил Чернобай. Выпили они по стопке, и тут доктора словно прорвало.

– Мне, – говорит, – новую должность дали. Теперь я член-корреспондент. Вот такие дела. А лет мне всего тридцать два.

– Это, брат, радоваться надо! – сказал дядя Леня. – Молодой да ранний!

– Нет радости, – вздохнул Чернобай. – Жизнь проходит, а радости нет.

Дядя Леня почувствовал, что его аж распирает – так много всякого накопилось, наворотилось в душе, но, видно, сказать некому. Тем более и раньше подозрение было, что доктор секретной работой занимается. Но если бы даже и не секретной, то все равно кому расскажешь? Это же надо, чтобы тебя выслушали с пониманием. Ладно, есть бог или нет его – вопрос сложный. Хоть и доказано, что нет, но он все равно должен быть, например, своя собственная совесть. Высший бог. Однако вместе с верой, с религией церковной отняли у человека очень важное в жизни действие и право, которое бы отнимать не следовало, – исповедь. Тысячу лет человека с детства к этому приучали, давно сделали душевной потребностью, жаждой к проверке и очищению совести. Наверняка в генах успело отложиться и передаться по наследству. Однако религии не стало, попов тоже – и пускай! – но куда эту жажду денешь? За десятки лет человеческую природу не перестроишь, следовало бы подумать об этом и замену найти. Вот в людях и накапливается, наслаивается одно на другое, хорошее на плохое, а сам с собой

не всякий разобраться сможет, отделить зерна от плевел. И молчит человек, и носит в себе колючие, как орех, мысли. Опять же не каждый может излить душу первому встречному. Вот он и замыкается в себе, судит себя то так, то эдак. Не отсюда ли неврастения – современная болезнь, стрессы, раздраженность такая, что маленькая искра – и человек как порох? И не отсюда ли веет суховей непонимания отцами детей, детьми отцов, поколением поколения?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.